

ЛЕОНИД
ЛЕОНОВ



Вор



ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Всемирная литература

Леонид Леонов

Вор

«ЭКСМО»

1925-1926

Леонов Л. М.

Вор / Л. М. Леонов — «Эксмо», 1925-1926 — (Всемирная литература)

ISBN 978-5-9910-3236-0

Роман «Вор» был написан в 1925–1926 гг., в обстановке ожесточенной литературной борьбы, когда идеи социологизации литературы были главными, а классическая литература сбрасывалась с «корабля современности». Тем не менее автор, подобно Достоевскому, изобразил катастрофу «маленького человека», раздавленного нэпом. Советский чиновник Леонова удивительно похож на гоголевских персонажей, многие герои – на «подпольных» людей Достоевского. Судьба главного героя Векшина доказывает, что революция, начавшаяся как праведное дело, как борьба за счастье и свободу, становится преступной. В конце 1950-х годов автор дополнил книгу материалами, упоминание которых тридцать лет тому назад было опасным.

ISBN 978-5-9910-3236-0

© Леонов Л. М., 1925-1926

© Эксмо, 1925-1926

Содержание

Пролог	6
Часть первая	8
I	8
II	10
III	13
IV	18
V	24
VI	28
VII	32
VIII	37
IX	41
X	45
XI	48
XII	52
XIII	57
XIV	61
XV	66
XVI	70
XVII	72
XVIII	77
XIX	81
XX	87
XXI	90
XXII	95
XXIII	99
Конец ознакомительного фрагмента.	101

Леонид Леонов

Вор

Автор с пером в руке перечитал книгу, написанную свыше тридцати лет назад. Вмешаться в произведение такой давности не легче, чем вторично вступить в один и тот же ручей. Тем не менее можно пройти по его обмелевшему руслу, слушая скрежет гальки под ногами и без опаски заглядывая в омуты, откуда ушла вода.

1959

Пролог

Гражданин в клетчатом демисезоне сошел с опустелого трамвая, закурил папиросу и неторопливо огляделся, куда занесли его четырнадцатый номер и беспокойнейшее ремесло на свете... Москва тишала тут, смиренно пригибаясь у двух каменных столбов Семеновской заставы, облитых, точно ботвиньей, зеленой плесенью времен.

Видимо, новичок в здешних местах, он долго и с такой нерешительностью поглядывал кругом, что постовой милиционер стал проявлять в отношении его положенную бдительность. И верно, было в облике гражданина что-то отвлеченно-бездельное, не менее настораживали и его круглые очки, огромные – как бы затем, чтобы проникать в нечто, не подлежащее постороннему рассмотрению, и, наконец, наводила на опасные мысли расцветка его явно заграничного пальто. Впрочем, щеки незнакомца были должным образом подзапущены, а ботинки давно нечищены, да и самый демисезон вблизи приобретал оттенок крайне отечественный, даже смехотворный, как если бы сшит был из подержанного, с толкучки, пледа.

Покурив и набравшись духу, демисезон двинулся напрямки к милицейской шинели и осведомился мимоходным тоном, не есть ли обступающая их окрестность – та самая знаменитая Благуша. Собеседник подтвердил его догадку, польщенный похвалой нескончаемому ряду невзрачных приземистых построек вдоль Измайловского шоссе.

– А которую улицу ищите? Ведь их у меня тут целых двадцать две, одних Хапиловок, извиняюсь, три... Благуша велика!

– Надо думать, чего только в районе у вас не имеется!..

– Всего найдется по малости, – очень довольный ходом беседы, усмехнулся милиционер.

– Верно, и воровские квартиры в том числе? – как бы незаинтересованным голосом осведомился демисезон.

Милиционер подозрительно нащурился, но тут, на счастье новичка, огромный воз порожних бочек замешкался на трамвайном пути... и вот они с веселым грохотом запрыгали по осенним грязям. Происшествие позволило демисезону вовремя отступить на тротуар и с независимым видом двинуться дальше, в зигзагообразном направлении.

Ничто за всю прогулку не оживило его озабоченного лица: бесталанные благушинские будни мало примечательны. Летом, по крайней мере, полно тут зелени; в каждом палисадничке горбится для увеселения глаза тополек да никнет бесплодная смородинка, для того лишь и годная, чтоб настаивал водку на ее листе подгулявший благушинский чулошник. Ныне же в проиндевелой траве пасутся гуси, и некому их давить, а по сторонам вросли в землю унылые от осенних дождей хижины ремесленного люда. Ни цветистая трактирная вывеска, ни поблекшая от заморозка зелень не прикрывают благушинской обреченности.

Лишь на боковой пустоватой улочке увидел путешествующий в демисезоне вроде как отбывшего сроки жизни гражданина в парусиновом картузе и зеленых обмотках; сидя на ступеньках съестной лавки, он сонливо взирал на приближающееся клетчатое событие. И как-то получилось, что не обмолвиться словом стало им обоим никак нельзя.

– Видать, проветриться вышли? – спросил демисезон, пряча глаза за безличным блеском очков и присаживаясь. – Наблюдаете течение времени, отдыхая от тяжких трудов?

– Да нет, водку обещали привезть, дожидая, – сипло отвечивал тот. – А вам чего в наших краях?

– Так, хожу... название у вас вкусное! Бла-гу-ша, нечто допотопно расейское: непременно переименуют! – рассудительно проговорил демисезон и предложил папироску, которую тот принял без удивления и благодарности. – Тихо у вас тут, нешумно.

– Покойников мимо нас возят, вот оно и тихо. И красных возят, и прочих колеров: всяких. Так что живем по маленькой...

Беседа не удавалась, дело шло к сумеркам, и путешественник по Благуше начинал поеживаться: ветру с дальнего разбега нипочем было пробраться сквозь крупные, расползающиеся клетки демисезона. Он сделал попытку расшевелить неразговорчивого соседа.

– Давайте знакомиться пока! Фирсов моя фамилия... не попалось ли в печати?

– Оно ведь разные фамилии бывают... – сказал без одушевления ремесленник. – У сестры вот тоже свояк в городе Казани был... Ан нет, – запутался он. – Не-ет, тому фамилья, никак, Фомин была... да, Фомин.

На том и покончился их разговор, потому что кто его знает, откуда взялся этот Фирсов – сыщик ли насчет сердечных и умственных тайностей, застройщик пустопорожних мест, балаганщик с мешком недозволенных кукол. Вот взыскательным оком выбирает он пустырь на Благуше – воздвигнуть несуществующие пока дома с подвалами, чердаками, пивными заведениями, просто щелями для одиночного пребывания и заселить их призраками, что притазились сюда вместе с ним. «Пусть понежатся под солнышком и, поцветая положенные сроки, как и люди, сойдут в забвенье, будто не было!» Давно живые, они нетерпеливо толпились вокруг своего творца, продрогшие и затихшие, как всё на свете в ожидании бытия. Отчаявшись напиться в этот вечер, давно ушел фирсовский собеседник, а сочинитель все сидел, всматриваясь в наступающие сумерки. И где-то внутри его уже бежала желанная, обжигающая струйка мысли, оплодотворяя и радуя.

«Вот лежат просторы незастроенной земли, чтоб на них родился и, отстрадав свою меру, окончился человек. Иди же, владей, вступай на них смелее! Вверху, в пространствах, тысячекратно повторенных во все стороны, бушуют звезды, а внизу всего только люди... но какой ничтожной пустотой стало бы без них все это! Наполняя собой, подвигом своим и страданьем мир, ты, человек, заново творишь его...»

Стоят дома, клонятся под осенним вихрем деревья, бежит озябшая собака, и проходит человек: хорошо! Промороженные до звонкой ломкости, скачут листья, собираясь в шумные вороха... и только человеческим бытием все связано воедино в прочный и умный узел. Не было бы человека на ступеньке, в задумчивости следящего за ходом вещей, – не облетали бы с деревьев последние листья, не гонял бы их незримым прутиком по голому полю ветер – ибо не надо происходить чему-нибудь в мире, если не для кого!»

Неглубокий овражек изветвлялся впереди, а дальше простиралась огорода, а за ними, еле видная в туманце, исчезала под низким небом хилая пригородная рощица. На пороге стоял пронзительный ноябрь, солнце отворачивалось от земли, реки торопились одеться в броню от стужи. В воздухе, скользя из неба, резвилась первая снежинка: поймав ее на ладонь, Фирсов следил, как, теплея и тая, становится она подобием слезы... Вдруг хлопьями копоты закружили птицы над полем, хрипло оповещая о приходе зимы. Холодом и мраком дохнуло Фирсову в лицо, и вслед за тем он испытал прекрасную и щемящую опустошенность, знакомую по опыту – когда вот так же раньше, для других книг, созревала в нем горсть человеческих судеб.

И тогда Фирсов увидел как наяву —

Часть первая

I

Николка Заварихин проснулся, лишь когда перестала его баюкать равномерная качка вагона. Зевая и потягиваясь в прокуренной духоте, он свесился с верхней полки. Никого не оставалось из пассажиров внизу, в окно глядела Москва. Одолеваемый воспоминаниями сна, Николка стал с вещами выбираться наружу. Едкий дым пополам со снегом окончательно пробудили его расхмелевшее за ночь тело. Не выпуская клади из рук, Николка недоверчиво огляделся и, хотя перед ним находились всего лишь задворки большого города – тревожная скука убегающих путей, семафоров да призрачных на рассветном небе брандмауэров с закопченными гербами и фамилиями покойных поставщиков двора, – опять взволновало его это пасмурное величие.

Порою снегопад переходил во вьюгу, но приезжий видел все перед собою остро и четко, как сквозь увеличительное стекло. Бесстрастные нагромождения тесаного камня высились кругом, и по нему взад-вперед елозило бессонное железо, растирая и само перетираясь в пыль. Видно, из подражания ему и люди свершали ту же уйму бесполезных движений, и, сам крепыш из глубинной губернии, Николка презирал их как судороги недужного, недолговечного существа... Тем не менее всякий раз по приезде в город покоряла его торжествующая и гибельная краса, и тогда всем телом под этими чарами ощущал он настороженную на него западню. И всегда, прежде чем вступить в сутолку улиц, стаивал так, минутку-другую, примериваясь к воздуху и погоде; осведомленный о некоторых его завоевательных намереньях, Фирсов неспроста назвал его соглядатаем перед воротами чужого города... Все было значительно сейчас в Николке – упругая стать размахнувшегося для удара человека, приглушенный свет жестоких голубоватых глаз, варварская роспись на добротных валенцах, песенная и цвета сосны в закате оранжевость его кожана, дубленного ольхой, не говоря уж о пленительной пестроте деревенских варежек... На этот раз, едва сделав десяток шагов, он остановился, потрясенный представшим зрелищем.

В рассветной безнадежной мгле сидела та самая, ему казалось – только что бывшая с ним в сновидении, и она плакала посреди опустелого перрона. Пушистый платок сбился на плечи, снег порошил темные, до глянца гладкие волосы, меховая шубка распахнулась от предельного отчаянья. Слезы с первого взгляда и сроднили ее с Николкой, вдоволь навидавшимся горя на недолгом своем веку. Врожденная недоверчивость к женщинам, от которых бессознательно берег свою силу, уступила место иступленной жалости. Жгучая прелесть незнакомки хлестнула его по глазам, и вот он не сопротивлялся своему пленению, внезапно, как всякое несчастье.

Некогда было расспрашивать, – женщина сама закидала его словами; мольба в них окрашивалась досадой на его тугую мужицкую сметку. Она показывала ему куда-то в зыбучий снег, и даже подозрительная розовость ее нерабочих ногтей не образумила Николки. Едва же понял, что проходимец только что вырвал чемодан у ней, спасительное сомнение вконец покинуло простака. Скинув к ногам незнакомки свой цветастый плетеный короб, – и сердце вместе с ним!.. – да крикнув постеречь, он скрипуче ринулся в метель искать земное имущество небесной грезы.

Кто-то, показалось взбудораженному воображению, перебежал между вагонами, стремясь выгадать время и укрыться от преследователя. Злоба и восхищение укрупнили Николкин шаг. Лишь признав в настигнутом кондуктора сменившейся бригады, он остановился смахнуть пот со лба и перевести дыхание. Уже он не сомневался в своей оплошности и не спешил вер-

нуться на место, где его застигло сострадание... хоть и неплохо было бы сейчас, придержав за плечо, заглянуть в глаза бабенки, что польстилась на его убогий пожиток. Еще раз сбывался наказ прадеда не верить городу, даже когда в беде он.

Усилившийся тем временем снег почти успел замести легкие и путаные следки.

– Все вокруг мираж один... – вслух подумал Николка, вернувшись на место, и длинная щель рта растянулась в усмешке, непроницаемой и для лезвия.

Гнев проходил, сменяясь презреньем. Достав из полушубка уцелевшую половинку деревенского пирога, он жевал с ожесточенным спокойствием, почесывал заросшую пухом щеку и поглядывал вокруг, благодарный за полученный урок. Со скрежетом и лязгом повседневного озлобления сновали по путям маневрирующие паровозы, и один, что привез Николку, с грудью навкаат и весь в масляном поту, прошел мимо него, жующего, – парень почти не посторонился. Где-то невдалеке бился на высокой ноте звонок, глухо и отчаянно, как пойманная птица. И все это ловко сливалось со вспомнившимся ему кстати дедовским заветом.

«То лишь нерушимо стоит, чего человек не коснулся, – говаривал покойник, если поприглядеть корявую речь неграмотного ямщика. – Окроме звезд в небе, настоящего-то почти и не видим мы мира, все больше видим руками сделанный, а чего они ни коснутся, людские жадные руки, то и обречено бывает несытому и смертному покою. Берегися временного, внучек, а, напротив того, устремляйся к вечному!»

Тут остывшим воображением попытался Николка восстановить в памяти приметы обманувшей его незнакомки и уже не смог подобрать ни слов, ни сравнения для ее надменной, тоскующей красоты. Тем не менее она отпечатлелась в нем до гроба, и примечательно, что с той поры всех своих женщин, когда обнимал их, он наделял чертами той, с полувзгляда полонявшей навечно... Всего один, хоть и обширный, имелся у него план в этот приезд – слегка подкормясь на расчищенной, после бури, ниве отечественной коммерции, опередить всех, стать предком знаменитого торгового рода – в бороде и поддевке, как рисовали их на фамильных русских портретах, и, кто знает, пенькой и льном или другим каким товарцем прославить даже за границей свой безвестный дремучий край... но знал, что в любой точке этого пути, кликни она его, без сожаленья бросил бы фирму и веру, бороду старозаветную обстриг бы, лишь бы настигнуть и утолить однажды, на вокзале, возникшую ярость.

История иначе вмешалась в Николкину судьбу и, свалив его в самом начале пути, в различных положениях повлекла его тело по своему порожистому руслу. Но и тогда, из всего отускневшего к старости опыта жизни, пожалуй, единственное такое по силе своей сохранилось в нем виденье младости... После тяжелого лагерного дня накатывала на него иногда как бы знойная, всезавихряющая туманность. Тогда закрывал глаза и вытягивался под потолком на нарах несостоявшийся глава фирмы и хозяин российского льна, и подолгу лежал в неподвижности трупа старый Заварихин Николай Павлович. И в том заключалась вся его отрада.

И хотя она маялась, мстила и падала, а потом сгнивала совсем поблизости, прекрасная Манька Вьюга, он встретил ее в жизни один всего раз, да и то лишь по непростительной сочинительской оплошности Фирсова.

II

Там, на Благуше, посреди Шишова переулка, обитал в насиженной каменной норе дядька Николая Заварихина – Емельян Пухов, слесарных дел мастер и человек. О занятиях Николкина дядьки и вопила вывеска, вкось прибитая над дверью мастерской. Слева курил на ней трубку неизвестного назначения вохряной турок, справа же чадил неисправный примус; в их совместном дыму, лупясь от благушинской жары и непогоды, помещалось смешное слово Пчхов. Собственноручно расписывая новую вывеску годов шесть назад, позабыл Емельян, в какую сторону обращена рогулька буквы У. Так и прослыл он в округе мастером Пчховым, беззатейным человеком ясного и ровного пути, и даже дружок задушевный Митька Векшин не более прочих был осведомлен о немой и непонятной пчховской жизни. Все знали Пчхова лишь по тем чудачествам, какими отшучивался тот от соседского любопытства, к примеру – будто живет в ухе у него мокруша, заползшая в незапамятные сроки, когда шалил винишком мастер Пчхов, и к непогоде начинает ползать, и тогда болит поперек до первого солнышка. Знали, что уж давно проживает он наедине со своим железом и от него перенял немногословие и скрытность; догадывались также некоторые, что после солдатчины пробовал Пчхов походить в иноческой скуфейке, да не пришлась по голове, и сбежал, похрамывая: в монастырьке повредил себе ногу. После чего, по слухам, добывал себе пропитание Пчхов на штамповочном заводе, но и тут томно стало ему, рванулся и убежал. Тогда-то, после нескольких темных лет, и задымил на вывеске самодельный турок, развлекая благушинскую скуку, обогащая записную книжку захожего сочинителя. Впрочем, за отсутствием времени одиночеством своим не тяготился Пчхов. Не будучи учен, а лишь обучен, он знал о многом, только по-своему, и будто бы даже понимал чертежи. Разум его, как и руки, был одарен непостижимым умением плодотворно прикоснуться ко всему. Умел он вылудить самовар, вырвать зуб, отсеребрить паникадило, свести на нет чирей или побороть самый закоренелый случай пьянства. И едва раскрыл он перед местными жителями столь разносторонние сноровки, поразились благодарная Благуша до самых недр и признала Пчхова великим мастером. И так вышло, что, не будь Пчхова, погибла бы Благуша, а без Благуши какая уж там Москва!

В вечных пчховских сумерках, под копотным потолком бессменно гудит примус, грея чайник либо паяльник, да остервенело хрипит над тисками крупнозернистый хозяйский рашпиль. Все здесь – и даже сам он, бровастый, хромой, черный, – мужики седеют поздно! – пропахло садным привкусом соляной кислоты, разъедающей старую полуду. Ржавел в углах железный хлам и позывал на чихание, просил милосердного внимания самовар с продавленным боком, и пряталась в потемках какая-то колесатая машина, про которую никак не скажешь, часть она или уже само целое. Среди уродов этих бодрствовал ныне мастер Пчхов, а новоприезжий племянник сидел невдалеке, постегивая варежкой по наковаленке.

– Гостинцев вез тебе в той покраденной корзинке... – жалобился Николка на утреннее происшествие, но обстоятельств своей промашки в подробностях не перечислял. В окнах полно было снега, и все летел новый, убыстряемый косым ветром. – Ишь как понесло: хорошая зима уставляется! Ну, пора мне, пожалуй...

– Мать-то хорошо померла? – на прощанье осведомлялся Пчхов, клепая железную духовку.

– В общем ничего. С отдания Пасхи до Ивана Постного помаялась малость, дело такое... и меня-то вот задержала. На торговлишку собираюсь, дядек, благословишь?

Тот не откликнулся: несмотря на родство по матери, стояли между ними равнодушие и рознь. Не по душе была Пчхову семейная заварихинская жадность: день торопились прожить, точно чужой да краденый. Род был живучий, к жизни суровый, к ближнему немилостивый. Дед, отец, внук – все трое стояли в памяти у Пчхова, как дубовые осмоленные столбы. Бивала

их судьба по головам, но не роптали, а лезли вновь, ни в чьей не нуждаясь помощи либо жалости. Всегда хмельной от собственной силищи, Николка не примечал дядина нерасположения: чтоб не сбиться с дороги, он не слишком любопытствовал о людях и, по собственному его признанию, не разводил излишнего сора в просторном ящике души.

– Эка, дряни-то у тебя... выкинул бы, пройти негде. Копотное твое занятие, надоедное: сам себя по уху колотишь!

И, поднявшись, племянник принялся было застегивать полушубок, но тут дверь раскрылась, и вошла высокая, вся в снегу, фигура, долгополая, староверская, в башлыке. Оказалось вдобавок, башлык скрывал голову с острым, почти отреченческим лицом, с бородой, такой черной, что походила на привязную. Старик почмокал и пожевал губами, шаря моргающим взглядом по углам. Когда ледяное бесстрашие его зрачков коснулось Николки, тот ощутил прилив странной подавленности.

– Здорово, Пчхов... – ворчливо сказал гость и покашлял, высвобождая голос из разбойной глухоты. – Все скрипишь, все прячешься. Оплутовал ты всех, каменные твои брови!

Но Пчхов продолжал молча копошиться над верстаком.

– Вот ты говоришь, – обратился он к Николке, минуя приветствие гостя, лишь становясь к нему лицом, – выкинуть барахло! – и кивнул на ворох железа в углу. – Вон, дело махонького случая, а обойтись нечем: заплаточку наложить! И дела моего понапрасну не хули: как ни стукну – копейка. Сколько я их за день-то настукаю... и без злодейства прожить можно! – с очевидным намеком прибавил он в заключение, а Николка подозрительно покосился на помаргивающего старика.

– Чего он застрял-то у тебя? – глухо спросил гость, кивая на Николку. – Поди с час в окно заглядываю: все сидит, настырный, да сидит!

– Свой... – нехотя скрипнул Пчхов. – Племяш, из деревни приехал.

– А, значит, новенький! – Изловчась, гость ткнул твердым перстом в расшитую грудь Николкиной рубахи. – Ишь какой отъелся на привольных хлебах! – посмеялся он, и в смех его вплетались застарелые простудные хрипы; тут он выпрямился перед Николкой, обнаруживая совсем еще крепкий стан. – Как озябнешь от жизни-то, парень, так забегай ко мне погреться: в Артемьевом ковчеге на всех места хватит! – Вдруг он выдернул из-под обмокшей полы тонкую змейку самогонного холодильника и протянул Пчхову: – На, полечи вот...

– Варишь все, Артемий? – кривовато усмехнулся Пчхов, но змейку принял, и тотчас все его инструменты накинулись на нее; она завизжала и засвистела в черных пчховских руках и скоро опять была готова точить из себя веселый яд. – Накличешь на себя беду!

– Не пугай!.. Митьку выпустили, обхудал. Спрашивал про тебя, жив ли, дескать, примусник! – сообщил новость Артемий и ждал пчховских расспросов, но тот отмалчивался. – Метет-то нонче! Так всего тебя и заметет вместе с турком, вот!

– Всех когда-нибудь заметет... – сухо ответил Пчхов, раздвигая на волокна подвернувшийся с верстака фитилек.

Гость собирался уходить, но звякнул звонок над дверью, и новая явилась личность. По макушку облепленный снегом, неожиданный, пугалом стоял на пороге клетчатый демисезон и силился протереть запотевающие очки. Близоруко щурясь, он посматривал на колесатую машину и, оттого что почуял враждебность наступившего молчания, заговорил тоном неверным и срывающимся.

– Вот... – начал он, кашлянув в целях сохранения достоинства, – как раз примус бы мне починить! Вчера еще был в исправности, знаете, а нынче течет поверх горелки, а не горит.

– Покажите, должен я осмотреть ваш примус, – хмуро отозвался Пчхов, выходя из-за верстака.

– В таком случае я и занесу его как-нибудь мимоходом. Моя фамилия, видите ли, Фирсов... недалеке живу, – подозрительно заторопился гость. – Как случится идти мимо, кстати

и притащу... а пока вот забежал познакомиться. Сугробистое, знаете, время! – И, наконец не выдержав неприязненного молчания, спиной попятившись в дверь, почти бежал от Пчхова.

Артемий метнулся к окну, но не доследил клетчатого демисезона и до противоположной стороны переулка: мельканье снега застило окно.

– Фигура! – качнулся после минутного молчания Николка.

– Все шныряют, высматривают!.. Эх, голова у меня от холоду ломится, застудил на Сахалине, вот башлык завел, – недовольно бурчал Артемий, с бородой закутываясь поверх шапки. – Смотри остерегайся, Пчхов!

– А мне остерегаться нечего, моя жизнь заметная. У всех на виду моя жизнь! – бормотал Пчхов, снимая брезентовый передник.

Наступал полдневный час обеда и передышки в железных трудах Пчхова. Он загасил свою горелку и постоял минутку, как бы прикидывая на глаз, сколько еще грохота таится в железном ломе вдоль просыренных стен мастерской. Лицо у него стало сосредоточенное, прислушивающееся.

– Ползает в ухе-то? – пошутил Николка по уходе Артемия, поднимаясь со своего обрубка.

– Играет с безделья!.. – в голос ему откликнулся Пчхов, а думал о Фирсове: ни в наружности, ни в потрепанной одежде посетителя не нашел Пчхов ничего предосудительного и, хотя повод для визита явно был придуман Фирсовым, сожалел теперь о не состоявшемся разговоре с ним.

«Мастер Пчхов, человек с Благуши! – так год спустя захлебывался в повести своей Фирсов. – Как нужен был людям этот до смущенья пронзительный взгляд из-под нависших татарских бровей, – про них шутила московская шпана, будто он их мажет усатином. К нему тащились за человеческим словом виляющие и гордые от обиды, загнанные в последнюю крепость бесстыдства, потерявшиеся в самих себе. Порой посмеивался над ними Пчхов, но он принимал жизнь во всех ее проявлениях не только на взлете, но и в падении, чем и объяснялась его привычка улыбаться на весь мир. Он не оттолкнул Митьку, когда тот, опустошенный и отверженный, постучался к нему однажды ночью. Он не пинал и Агея, хоть и желал ему смерти, как мать неудачному детищу. Он приютил впоследствии и питал трудами своих рук Пугля, скинутого на дно. Да и многие иные, бессловеснейшие и бесталаннейшие из земноногих, находили у Пчхова ласку, никогда не обижавшую.

А внутри себя был спокоен, как спокойны люди, видящие далеко. С молодых лет, имея особую склонность к сосредоточению и тишине, полюбил мастер Пчхов деревянное ремесло, самую стружку, весело и пахуче струящуюся из-под стамески, возлюбил. Украдкой верил он в край, где произрастают золотые вербы и сереброгорлые птицы круглый день свиреют. Так не для того ль, чтоб плодотворней насладиться впоследствии великим благом тишины, и обрек он себя на слесарное дело и общенье с беспокойными людьми?

А когда достиг наконец желанного безмолвия, – сказано было в фирсовской повести, – и лежал вытянутый и строгий, как солдат на царском смотре, то вся Благуша, оторвавшись от дел, глазела в окна, как провозили его мимо все по той же бесконечно длинной и скучной улице. И за гробом шел один только Пугль, одичалый и опустившийся от уже последнего сиротства. И все отметили тайком, что Митька Векшин, друг его сердечный, не примчался проводить старика на кладбище...»

III

Кроме образцов льна, валенцев и домашней строчки по крестьянскому холсту – всего, чем прославлена серая Николкина сторона, ничего не было в украденной корзинке. Не кража была причиной тому, что не оправдались надежды и ставка Николкина приезда. Заварихин обошел земляков, и те разъяснили ему, что суммы его капиталов, огромных в деревне, недостаточно для торгового почина в городе... Кстати погода переменялась, мокрым снегом понесло; тут Заварихин и загулял с огорченья.

Вечеру выйдя от дядьки, он двинулся наугад в окраинные переулки, где потемней: застыдился своей оранжевой деревенской овчины. Привлеченный полосами света, пересекавшими побелевшую от снега булыжную мостовую, он повернул раза два за угол и вот уже знал, куда идет. Под зеленой вывеской раскачивался слепительный в сумерках фонарь. Ветер прямо с ног валит, а запотелые изнутри, почти вровень с тротуаром, яркие окна пивной сулили тепло и уют. Заварихин подвинул шапку и обдернул полы полушубка, отчего вдруг постатнел и вырос. Оттепельная капель с крыши, мелкой дробью в плечо, поторопила его спуститься по скользким ступеням в самое пекло подвала.

Просторную залуцу до отказа переполняли звон посуды, женские хохотки, беспорядочное движение, запахи сохнувшей одежды, кухни и табака. На эстрадке полосатый, беспардонный шут отсобачивал куплеты про любовь, пристукивая старорежимными лаковыми штиблетами. Только в заднем, тесноватом отделении, где свету было пожиже, а гость темней с лица и опаснее, отыскался свободный столик. Заварихин расстегнул полушубок у ворота и скричал полового... Хмельные компании перекликались из угла в угол, дразнясь и ссорясь, но ленивая брань не грозила пока ножом. Слоистый дым окутывал перья фальшивой пальмы и несколько дурных картин, развешенных с художественным небрежением. Казалось, что этот ночной пир происходит на дне глубокого безвыходного колодца; свыкнувшись, люди и не заглядывали вверх. Все это была залетная гулящая публика, как пояснил Николке с усталым усмехом половой Алексей, тоже летучий парень с бельмом, весь пятнистый и захватанный, как его салфетка.

– Сам-то из Саратова, значит? – помаленьку осваивался Николка, приглядываясь к обстановке. – Саратовцы-то, в притче сказывано, собор на гармонь променяли... ты в ихнем деле не участник? Ладно, не серчай: шутка. Игроки сплошь да орляночники твои земляки, но земледельцы, бают, круглые, заботистые!

– А мы безземельны все, и дядья-то в половых бегали... весь род бегал, бегуны! Заказывайте, гражданин, некогда... – выпалил тот со злостью и попытался убежать, но Заварихин придержал его за рукав.

Вдруг что-то недоброе померещилось ему в этом месте, куда завела его незадача: и пропитанный тревогой воздух, и сидевшие кучками, сблизясь головами, соседи вокруг. В иное время ничто, даже недопитое и оплаченное вино, не удержало бы Заварихина тут, но сейчас не хотелось менять, пусть кабацкий, уют на слякотную улицу, жесткую койку в дядиной клетушке, на досадные раздумья о первом в жизни крупном поражении.

– Слышь-ка, приятель, а что за народ у тебя здесь... не зарежут? – притянув к себе Алексея, уже по-свойски осведомился Николка.

– Кому ж у нас резать? – деревянно посмеялся тот. – Резать у нас вроде некому. Это вы глубоко неправильно заметили... А просто субботний день, кажный норовит стряхнуться, потому как люди затруднительной жизни. – И парень выразил сочувствие кратким вращением глаз. – А тут у нас и кубарэ происходит, опять же кокетки, извиняюсь, заходят с улицы: публика, напротив, самая чистая. Даже в уголку, вишь, который в четверугольном пальто, сочинитель сидит, на манер Максима Горького. Ишь как в бумагу свою карандашом скребет, про жизнь записывает!

– Где, где? – всполошился Николка в простецком предположении, что сочинители бывают только мертвые, но парень вырвался и убежал.

И опять: именно то обстоятельство, что ничего выдающегося не виднелось в указанном направлении, кроме клетчатого демисезона, а на столике перед ним красовалась всего лишь нищая кружка пива да нарезанная ломтиками вобла общедоступного сорта карие глазки, показалось Николке вдвойне подозрительным притворством.

Знакомы были Николке трактиры на больших дорогах, где степенный проезжий народ услаждается чаем с синим от заправки сахаром да кислыми суточными щами, а если выпьют, то не от распутства их шумливый хмель. Здесь – глаза людей смотрели с прищуром, как из-под бетонного козырька, под которым укрывались от суда и правды завтрашнего дня. Он не сулил им добра, этот день, хоть и притягивал к себе, как тянет магнитная гора ничтожный железный опилочек. Нечистой удаляю и разгулом старались они продлить летящее мгновенье, потому что остановиться в безостановочном падении можно было, лишь разбившись вдребезг. Невольно настораживали поэтому их опустошением и скукой отмеченные лица. Николка все еще недоумевал, и, когда липкая, без пола и возраста, пугливая тень предложила ему понюхать, он отпихнул ее враждебным взором, с брезгливостью нетронутого здоровья. И та поплыла меж столиками дальше, неся как вывеску своего товара недуг в обесцвеченных глазах... Тут, ощутив потребность выйти во двор, Николка поднялся из-за стола и с удивлением отметил, что успел захмелеть от выпитого натошак.

Когда он вернулся, людей прибыло, а толчея и шум чуть не вдвое усилились. Терпкий чад кухни, казалось, вот-вот скристаллизуется и хлопьями станет падать на засыпанный опилками пол. Поосвоившись, Заварихин перебрался за другой столик, в проходе, чтоб видеть происходившее на эстраде. Полосатого давно сменил чумазый фокусник, а на смену ему явилась пышная, в благушинском вкусе, красавица, со значительным вырезом на бархатном сиреневого колера платье. Низким, взвистливым голосом она запела тягучую каторжную песню, то скрепящая руки на высокой груди, то в искусном отчаянии раскидывая их по сторонам, как бы даря себя двум сразу приземистым гармонистам, сидевшим по сторонам.

В совершенной тишине, медленно приспуская тяжелую шаль с белоснежного, как лакомство, плеча, мановеньями рук умеряя ярость гармонистов, она исполняла свою коронную —

...я в разгуле закоснела,
лучезарная твоя!

Судя по наступившему безмолвию, ее знали и ценили здесь, знаменитую исполнительницу роковых песен, как было сказано в самодельной афишке, Зину Балуюеву. В переднем ряду какой-то атлетической внешности поклонник в бекешке, верно, с черного рынка негодянт, все накручивал помрачительной отработки ус, жестом требуя от артистки дополнительно огня и ласки, а один зашиканный пропойца, пьяней вина и стоя на стуле, дирижировал и плакал в три ручья по своей надежно загубленной жизни... Во хмелю Николка довольно быстро утрачивал всякий удерж, а тут под влиянием всеобщего воодушевления его в особенности потянуло выделиться из всего человечества и с этой целью совершить нечто в старинном стиле, примерно высадить оконную раму, и высадил бы, кабы не музыка, а пока – лишь глазами и соответственным движением обеих рук заказал Алексею тащить к нему на стол все имевшиеся в наличности дары природы. Тогда-то, в разгаре поднявшейся суеты, и спустился в подвал новый посетитель, к великой Николкиной досаде немедленно овладевший вниманием пивной... причем и у самого Николки осталось щемящее впечатленье, будто острым и праздничным сквознячком пахнуло на него от вошедшего.

Только из-за этого чрезвычайного и, видимо, неожиданного появления никто не проводил певичку ни хлопком, ни увлажненным взором, – побледневшая и смяв конец песни, она

торопливо сбежала по дощатым, прогибавшимся под нею приступкам. И вот уже завсегда так только и пялили глаза что на новопришедшего, дивясь чему-то, завидуя и ужасно волнуясь; никто, впрочем, не смел глядеть на него в упор. Коммерсант в бекешке косился по сторонам, ища благоприятного повода удалиться, а беспримерные усы его некрасиво обвисли. Кто-то шепнул Митька, но ничего не раскрылось для Заварихина в этом звуке... А тот и впрямь заслуживал особого вниманья, этот молодой и в чем-то даже подкупающе скромный, если бы не эта неуместная для ночного кабака енотовая шуба и такая же дорогая шляпа, – на них еще сверкали мельчайшие бриллиантики измороси. Крохотными вызывающими бачками на щеках, не менее, чем шубой, дразнил он осудительный заварихинский взгляд, а по высокому лбу, ранняя, похожая на шрам, бежала морщина. Верно, никто не видал его в жизни пьяным, гневным или плачущим. И прежде всего такая под этой сдержанностью, пожалуй, даже вялостью, чувствовалась способность к быстрому, злому и точному движенью, что сразу понял Николка: с таким либо вечная дружба, либо смертный бой.

Захваченный странным очарованьем скрытой силы, Николка и сам не возразил бы, чтоб посетитель разделил с ним стакан вина и одиночество, однако сразу нахмурился, когда тот без спросу присел к нему за стол и, подвинув заварихинское, положил шляпу на краю. Тотчас, без единого приказанья, пятнистый Алексей поставил перед ним стакан чаю с лимоном, что указывало на известный здесь и тщательно соблюдаемый обычай этого, в бесценной шубе, удальца. И вдруг все в нем – показная небрежность к благам жизни, равнодушие к изобилию на заварихинском столе, а пуще всего этот бесстрастный взор куда-то поверх Николкина плеча, – все теперь стало оскорблять, сердить Николку и подымать на дыбки.

Готовый на любые и непоправимые осложнения, он повернулся боком к сопернику и для начала подтолкнул локотком ненавистную шляпу позади себя; та бесшумно – но он-то слышал! – скользнула на грязные опилки. Можно было утверждать, что, занимаясь каждый своим делом, никто из посетителей в ту минуту вовсе не глядел на Митьку, но едва вещь коснулась пола, вся пивная, сколько их там было, в одном полусознательном рывке метнулась поднять ее и с глухим вздохом отхлынула назад, доверив это ближайшему. Не считая Заварихина, кажется, единственный из всех Митька не шевельнулся на шум, – вряд ли до его сознания дошла причина переполоха.

Николка засмеялся, обнажая белые, без единого изъяна зубы.

– Аль деньжонки шальные завелись... шубу-то не бережешь, – дружелюбно качнулся он и потянул соседа за надорванный на рукаве лоскуток. – Выдал бы тогда займы надежному человеку!

– А, это еще с тюрьмы у меня... – просто откликнулся тот и опять уставился в желтый лимонный кружок.

Тогда, с верхом наполнив свою кружку пивом, Николка щедро протянул ее соседу, так что пена сползала прямо на лимонный чай: он угощал.

– Да бери же, бери, пока не раздумал... пей, браток! – с озорством подмигнул Николка и дерзко взглянул в поднятые Митькины глаза; в них светился знобящий осенний день, они не расспрашивали, но предупреждали, и Николка не испугался их. – Пей, а то сам выпью. И вы там – на всех хватит. Гуляй, заплочено... Пей!

Тот испытующе глядел в переносье Николке, где вкрутую сбегались брови. Казалось, он изучал природу этого деревенского молодца, который, внезапно разойдясь и выпрямься в рост у стены, сам полунищий, приглашал Митьку, а заодно с ним и весь этот темный сброд к себе за стол, на даровое угощенье. Николкино лицо сперва порозовело, потом окрасилось багрецом и вроде подпухло слегка. Он приглашал их с презрительной, на пределе брани, лаской, и в щедрости этой выразилась вся его родовая неприязнь к городу, к западне с хитрой заманкой... Дед Николкин гонял почтовых лошадей на тракте, и среди односельчан досель ходили сказы об его ямщицких доблестях. Ненадолго вся былая ярость дедовских рук вселилась в узловатые, с

волосками на суставах, Николкины руки: теперь они жаждали владеть, усмирять и взнуздывать, гнать сквозь ночь непокорную тройку хоть с самой Россией в пристяжке!.. Правда, Заварихины и во хмелю не теряли рассудка, так что прокучивал не последнее; значительная часть Николкиных капиталов была вшита в пояс да полстолько втайне от Пчхова запрятано в мастерской вместе с билетом на обратный путь.

Пивная прислушивалась к его дерзкому приглашению, вопросительно косясь на Митьку, точно испрашивала согласия... И тут оказалось, столиками уже заставили проход, чтоб не сбежал хвостун, не заплатив за поношение. Высокий парень, очевидный вор в обличии мастерового, пересел за соседний к Николке столик и кашлянул, подзывая других. Иные заблаговременно исчезали, предвидя зловещий конец кутежа, зато количество оставшихся будто учетверилось. И не успел пятнистый Алексей с добровольным подручным раскупорить первую дюжину, как уже сидели, званые, за составленными столиками, с грозной терпеливостью выжидая дальнейших хозяйских распоряжений.

И снова первая кружка была протянута Митьке, но тот отрицательно качнул головой, и Николка с усмешкой выплеснул налитое пиво под пальму. Кто-то возроптал, кто-то засмеялся; неистовая пляска Николкина лица совсем утихла.

– Эй вы, там, которые... угощайтесь! Алеша, покличь сочинителя, дружок, пускай погрется на заварихинские... – еле пошевелил он запекшимися губами, и вдруг плечи его распахнулись, а тело подалось вперед. – Пейте, вы... – повторил он, взмахивая потемневшими зрачками, – дьяволы московские!

Того лишь и ждали: губы гостей всласть приникли к толстому кружечному стеклу. И уже по второму разу опорожнялись кружки, и неизвестно, над которой дюжиной хлопотали умножившиеся добровольцы, когда женский голос крикнул сзади:

– Барин, толстый барин бежит... Погодите!

Кучка слева расступилась, давая проход грузному пожилому, донельзя обтрепанному человечку, деловито и мелко семенявшему к Николке Заварихину. Весь колыхаясь от бессильной дряблости, не вследствие, однако, излишеств беспорядочной прошлой жизни, а скорее от нынешней неудачной старости, утомления и полного равнодушия к своей особе, он как бы падал вперед на бегу; на утратившем цвет рипсовом воротничке сотрясались щеки, а один штиблет ширкал громче другого. Почти вчера еще олицетворение сословного дворянского благоденствия, записал про него Фирсов, теперь он выглядел символом крайнего падения, разочарования и горечи.

Подскочив к Заварихину, он перевел дыханье, обмахнул лицо подобием салфеточки с бахромкой, пошебаршил ногами и все это заключил улыбкой, выразившей – наравне с желанием не опоздать и угодить – опасение невзначай получить по шее.

– Вот и я, извиняюсь... сердчишко шалит! М-м, шалит... – объяснил он, прикусывая в одышке кончик языка, и махнул рукой, не в силах изобрести подходящую случаю шутку. – Не разоритесь ли, ваше степенство, на полтинничек для бедного человека?

– Это чего тебе? – насторожился Николка, незаметным движеньем тела проверяя сохранность зашитых в пазуху денег.

– Не скупись, купец! Деньги невелики, а он у нас, видишь ли, всякие такие истории житейские из царского режима рассказывает... иной раз взопреешь, смеялись! – шепнул на ухо Николке неизвестный малый с лицом, слегка продавленным вовнутрь. – Помещик он бывший, Манюкин... ну из бар, понятно? Да не обедняешь ты с полтинника, земляной черт! – добавил он покруче для пушей убедительности.

Потянулось неловкое молчание, в течение которого Манюкин то барабанил пальцами о стол, то пробовал пофрантоватей перевязать свой веснушчатый галстучек. Николка хмурился и выжидал, не решаясь на бессмысленную в его понимании потрату.

– Лучше садись-ка пиво с нами пить, – недружелюбно обронил он, на всякий случай избегая баринова взгляда.

– Спиртного на работе не принимаю, простите великодушно. На жизнь зарабатывать надо... – тихонько и настойчиво отклонил Манюкин. – Кушать ежедневно требуется, тоже и за квартиру-с... кроме того, налог платить: с меня налог положен. Да вы не робейте, один ведь только полтинничек! – и преклонил голову набочок с видом терпенья и готовности услужить в меру своих возможностей.

– Заработок это у него, пойми, скудного ты ума человечина, – эхом и заметно сердчая на Николкину неуступчивость, заворчали со стороны, а один, в особенности нетерпеливый, даже присоветовал вполголоса, кто поближе, шарахнуть купца разок для вразумленья. – От полтинки не разоришься, а он, глядишь, за твое здоровье щец горяченьких похлебают, лишний денек проживет. Ну, артист он, артист в своем роде... смекаешь теперь?

Тогда Николка стал было застегиваться, готовый сперва и к побоищу, но потом, осознав уединенность места и количество противников, сдался, сгреб в кармане всю, какая нашарилась, медную мелочь и вместе с крошками выложил на стол. Денег на глазок, без счета, хватило с избытком, гривен на восемь.

– Про что рассказывать прикажете? – с благодарным полупоклоном справился Манюкин, не прикасаясь к монетам, как бы в ожидании, чтоб поостыли.

– Сказывай, ждет он... – угрожающе зашевелился гражданин с флюсной повязкой, налегавший на Николкино пиво с явным намерением разорить треклятого нэпмана.

– О, не беспокойтесь, у нас вся ночька впереди... – умоляюще, в сторону непрошеного заступника, выставил руки Манюкин. – Назначайте.

– Из чего назначать-то? – озираясь, переспросил Николка.

– У меня большой выбор имеется... – заторопился рассказчик. – К примеру, вот довольно забавная историйка, как я чуть с ума не спятил от любви на заре моей жизни. А то лицейская поездка в Царское Село с тремя такими штучками, и каким конфузом обернулось дело. Можно также и про лошадь... как я одну бешеную кобылу усмирять. Имеются у меня и другие эпизоды, только вам непонятно будет...

– Вали тогда про лошадь сказывай! – выбрал наконец Николка, с подозреньем поглядывая на серые заросшие щеки, на заискивающие руки, на заерзанные брючки барина. – Лошади страсть моя... – признался он изменившимся голосом, а незнакомец Митька кинул на него при этом быстрый примеряющийся взгляд.

– Можно и про лошадь... про все можно! Историща, правда, не особо длинная, зато чуть жизни мне не стоила, – предупредил Манюкин, усаживаясь на подставленный кем-то стул и с разбежавшимися зрачками набираясь вдохновенья.

Он досадливо обернулся на говорок в углу, мешавший ему сосредоточиться, и там мгновенно стихли. Движеньем руки он отказался также от протянутой сбоку папироски.

– Не записывайте, я не разрешаю записывать... – поверх всех покричал Манюкин сочинителю, едва тот пристроился со своей бумагой за соседним столиком. – Не стыдно вам хлеб нищего присваивать? – И снова молчал он, и по тому, как потирал себе плешивую голову для оживленья памяти, как оглаживал проштопанное колено то в одном, то в обратном направлении, видно было – каких чрезвычайных усилий стоило ему стронуть с места ржавую машину воспоминаний. – Так вот, с вашим покорным слугой случилось однажды, тому уже поболее годов сорока, когда еще никого из вас на свете и в помине не было...

IV

Черный хлеб своей беспутной жизни барин Манюкин добывал враньем, то есть рассказываньем заведомых небылиц, какими, впрочем, становятся к старости даже совершенно достоверные, как раз наиболее дорогие сердцу эпизоды, в особенности – после жестоких житейских или политических крушений. С целью заработка он всякий вечер с неизменной точностью заявлялся сюда, в подвал, за гулящими полтинниками, причем всегдашними потребителями его бывали людишки со столичного дна: прокучивающий казенные червонцы чиновник, запойная мастеровщина, бражничающий перед очередной садкой вор. Манюкин врал то с отчаянием припертого к стене, то, по миновании лет, с жаром наивного удивленья: ему, кое-как перебравшемуся через огненную реку революции, прошлое именно таким фантастическим и представлялось с нового, достигнутого берега. Он не старался применяться к грубым вкусам заказчика, немногие умели оценить цветы и перлы манюкинского вдохновенья, тем не менее его простодушные слушатели с интересом вникали в пороки, тайны и сарданапальские роскошества чужого класса, да еще в передаче столь осведомленного свидетеля их и участника. Нередко, когда иной раскутившийся скоробогач не щадил манюкинское достоинство, весь тот ночной сброд урчал и стенкой подымался на защиту – не артиста, не барина, не человека даже, а заключенного в нем горя.

– Итак, заехал я раз к старинному дружку моему Баламут-Потоцкому в придунайское его поместье. Лето тропическое стояло, помнится, и гроза шла. – Манюкин набрал воздуха в грудь, и все потеснее сомкнулись вокруг, стремясь поближе – ухом, глазом и случайным прикосновением – вникнуть в очередное приключение. – Вхожу, а он – батюшки! – сидит у себя на терраске, какой-то весь насквозь проплаканный, и одной рукой пасьянс раскладывает, – «изгнание моавитян» назывался! – а другую пенки с варенья жрет. А вокруг все мухи, мухи! Призовой толстоты был человек и погиб в последнюю войну: записался рядовым, однако, не уместаясь в окопах, принужден был поверху ходить. Тут его и подстрелили...

– Наповал, значит? – подзадорили из публики.

– Вдрызг, аж брызнуло!.. – скрипнул Манюкин, и стул скрипнул под ним. – Чмокнулись мы, всего меня вареньем измазал. «Распросительство, – спрашиваю его озадаченно, – чтой-то рисунок лица у тебя какой-то синий?» – «Несчастье, – отвечает. – Купил, братец, кобылу завода Корибут-Дашкевича: верх совершенства, золотой масти, ясные подковочки. Сто тринадцать верст в час!..» – «Звать как?» – недоверчиво спрашиваю, потому что я лошадиные родословные наперечет знал, а про эту не слыхал. «Грибунди! – кричит, а у самого опять невольные слезы, помнится, даже плечо мне обмочил. – Дочь знаменитого киргиза Букея, который, помнишь, в Лондоне на всемирной выставке скакал! Король Эдуард, светлейшей души человек, портрет ему за резвость подарил... эмалированный портрет с девятнадцатью голубыми рубинами...» – «Объяснись!» – кричу наконец в нетерпении. «Да вот, отвечает, шесть недель усмиряем, три упряжки изжевала. Корейцу Андокуте, конюху, брюхо вырвала, а Ваське Ефетову... помнишь берейтора-великанища? Ваське это самое, тоже что-то из брюшной полости!» Я же... – и тут Манюкин подбоченился, – ...смеюсь да потрепываю этак моего Баламута по щеке. «Трамбабуй ты, граф, говорю, право, трамбабуй! Я вчера пол Южной Америки в карты проиграл... со всеми, этово, мустангами и кактусами, а разве я плачу?»

– Как же ты ее проиграл? – недоверчиво протянул Николка, отирая пот с лица и с подозрением косясь на прочих слушателей.

– Обыкновенно-с, в польский банчок! Трах, трах, у меня дама – у него туз! Получайте, говорю, вашу Америку. Признаться, целый месяц чертовку проигрывал, велика! – отбился Манюкин и мчался далее, не щадя головы своей. «А ты, трамбабуй, из-за кобылы сдюпился? Брось реветь. Член мальтийского клуба, и государственного совета, и еще там чего-

то, а ревешь, как водовозная бочка!» А по секрету вам признаться, я с одиннадцати лет со скакового ипподрома не сходил: наездники, барышники, цыгане – все незабвенные друзья детства! Обожаю красивых лошадей и, этово... резвых женщин. У нас в роду, у всех Манюкиных, какой-то чертов размах в крови. Во молодые годы дед мой, Антоний, чего только в Париже не выкомаривал! Раз крепостных мужиков запряг в ландо сорок штук, на ландо гроб поставил, в шотландскую клетку, на гроб сам уселся в лакированном цилиндре, с креповым бантиком, да так и проездил по городу четверо суток. Впереди отряд заяицких казаков на жалейках наяривает, а на запятках, извольте видеть, – полосатых индейцев восемь голов... Ну, тамошний префект, разумеется, взбесился...

– Да бывают ли они разве полосатые? – с подозрением, что его по нарочному сговору обставляют мошенники, переспросил Николка.

– Специально для этого случая из Доминиканской республики выписал, четверо по дороге в трюме погибли: экваториальный, девяносто шестой пробы менингит... Ну, взъярился этот чертов префект. «Ты, кричит, Антон, оскорбляешь не только наше французское гостеприимство, но и мировое религиозное чувство, и за это обязан я тебя поместить пожизненно в каторжные работы!» А дед только усмешается: в любимцах ходил у Екатерины-матушки, Потемкина подменял в выходные дни. «Вот положу, грозится, на ваш дурацкий Монблан триоквадро-бильон пудов пороху, да и грохну во славу российской природы!» Пришлось старухе через римского папу дело расхлебывать: чуть до войны не докатилось дело.

– Ну, а кобыла-то?... – облизал губы Николка, втягиваясь во вкус повествованья.

– Как слышал я про лошадь, тут и разгуделся я: меня хлебом не корми, а дай усмирить какое-нибудь там адское чудовище! «Тащи его сюда, кричу, буцефала твоего... Я ему, четырехногому, зададу перцу!» – Манюкин дико повращал глазами и сделал вид, будто засучивает рукава. – Мой Баламут глазам не верит, жену позвал: «Маша, шепчет, взгляни на этого неузнаваемого идиёта... желает Грибунди усмирять!» Та кидается отговаривать... Между прочим, умнейшая в Европе, ангельского сострадания женщина, только вот велелепием личности особо не отличалась.

– А я даже имел счастье видеть эту даму в Петербурге... – полушутливо вставил Фирсов, в расчете приобрести на будущее время расположение рассказчика.

– Она вообще много тратила на благотворительность, и всегда у ее подъезда толпилась уйма всяких клетчатых шелкоперов... – при общем смехе отмахнулся тот от Фирсова, поперхнувшегося на полуслове. – Тут и Маша вместе с мужем на колени бросается меня отговаривать: «Пожалейте отечество, дорогой!» А я уж вконец осатанел: «Седлю мне, – кричу в запале, – и я вам покажу восьмое чудо света!» Пробиваюсь сквозь толпу, потому что к тому времени уйма народу собралась, даже из соседнего уезда прискакали! И хотя ливень уже хлестал как из ведра, никто, заметьте, даже не обратил на него ни самонаименьшего внимания. Вдруг слышу как бы подземный гул... Богатыри, шестнадцать человек, выводят ко мне Грибунди в этакое железном хомуту, глаза в три слоя мешковиной обвязаны, а меня издали чует, тварь, жалобно так ржет. «Ставь ее хряпкой ко мне!» – глазами показываю челяди. Поставили! «Сдергивай, кто поближе, мешковину!» Сдернули. Покрестился я, этово... как раз на Андокутю пришлось: высунулся из-за дерева с перевязанным брюхом, только что из госпиталя, и зубы скалит, подлец! Мысленно прощаюсь с друзьями, с солнышком, да с ходу как взмахну на нее... и даже ножницы, помнится, сделал: старая кавалерийская привычка. Даю шенкеля – никакого впечатления: тормозится, ровно старый осел! Баламут мой, вижу, побледнел со страху, будто в саване стоит, а у меня как раз наоборот, характер такой потешный: чем грозней стихия вокруг, тем во мне самом спокойней. И даже такой, братцы мои, холод во мне настает, что дождик стынет и скатывается с плеч ледяной дробью, седьмым номером. И вдру-уг... – Манюкин живописно втянул голову в плечи, – как прыганет моя Грибунди да семь раз, извольте видеть, в воздухе и перекувырнулась. Тотчас седло на брюхо ей съехало, пена как из бутылки, хребтом так и

поддает... «Боже, – сознаю сквозь туман, – и на кой черт далась мне эта слава? Она ж без потомства меня оставит!» Полосую арапником, сыромятную уздечку намотал так, что деготь на белые перчатки оттекать стал: ни малейшего впечатления! Закусила удила, уши заложила, несет с вывернутыми глазами прямо к обрыву: адская бездна сто сорок три сажени глубиной! Небытием оттуда пышет, вдали Дунай голубеет, и на горизонте самое устье впереди, и даже видно, как... морские кораблики в него вползают, и тут кэ-эк она меня маханет!.. – Манюкин со стоном вцепился в край кресла и выждал в этой позе несколько мгновений, чтоб показать, как оно было на деле. – Впоследствии оказалось, об скалу на излете треснул: полбашки на мне нету, а я даже сперва и не заметил! Припоминаю только, будто этакие собачки зелененькие закружились в помраченном сознании моем. Хорошо еще, упал удачно, прямо на орлиное гнездо! Очнулся, вижу – Потоцкие на альпийской веревке ко мне спускаются. «Жив ли ты, – кричат на весу, – задушевный друг, жив ли ты, Сережа?» – «Жив, – отвечаю ослабевшим голосом, – кобыла немножко норовиста, пожалуй, зато в галопе, правда твоя, изумительна!..» Ну, отыскали там недостающие части от меня, залили коллодием, чтобы срасталось...

Манюкин передохнул и для силы впечатленья бегло ощупал себя, как бы удостоверясь в собственной целостности, затем смахнул испарину со лба и украдкой обвел взглядом лица слушателей своих, выразившие скорее смущенье, чем даже сочувствие. Неспроста пятнистый Алексей обронил Фирсову, что еще полгода назад рассказы эти получались у Манюкина не то чтобы занозистей, а как-то правдивее. Никто теперь не смотрел в глаза артисту, да и сам он сознавал, что с каждым днем заработок его все больше походит на милостыню. Один из всех Николка засмеялся было над неудачным укротителем, но тоже оборвался, пораженный наступившим молчаньем.

– Ведь это на какую лошадь нарвешься, – исключительно в поддержку рассказчика вздохнул один из слушателей.

– А то, случается, и хоронить нечего!

– Ее тогда кулаком меж ушей надо осадить, – учительно сказал Николка, и все со странною приглядкой взглянули на него. – Мне довелось однажды, этак-то, при возникших обстоятельствах, враз и рухнула, гадюка, на передние...

– У тебя другой сорт сложения, твое крепче. Барину уж на тот свет сматываться пора, а ты, напротив, будешь жить да поживать, пока рябой разбойник из-под моста не порушит твое здоровье, – с лаской ненависти сказал все тот же с вогнутым лицом вор и прибавил непонятное слово, встреченное взрывом необузданного веселья. – А на прощанице, купец, ну-ка выдели барину еще рублишко от щедрот своих, на поддержанье духу. Да и отпусти его, он старенький, ему спать пора...

Это скорее понуждение, чем просьба, произнесенное еле слышно, но снова прозвучавшее приказом, сразу заставило Николку принять оборонительное положение.

– Да мне не надо, зачем мне... – отовсюду защищаясь ладонями, заторопился Манюкин.

– А ты постой, барин, не тормозишь, рассыпешься, – оборвал его главный теперь зачинщик скандала. – О тебе речь, да не в тебе дело. А ну, не задерживай, купец, уважь компанию!

– Куды ему, полтины за глаза хватит, шуту гороховому: все одно проплет... Псу под хвост деньги кидать, этак никакой казны не напасешься! – неуверенно тянул Николка.

Обе стороны теперь взаимно раздражали друг друга: одну сердил самый облик нетронутой крестьянской силы и кощунственного, в те суровые годы, благополучия, Николку же, напротив, злила и тут проявившаяся привычка города распоряжаться его трудом и достатком. Только застрявший посреди Манюкин мешал им сойтись в рукопашной.

– Напрасно вы меня этак, гражданин... – с многословной старческой чувствительностью заговорил он и пальцем попридержал запрыгавшую губу: видимо, он еще не совсем привык к новой роли шута в государстве российском. – Хотя, по нужде, мне и приходится торговать немножко биографией моею, но, право же, весь с потрохами я не продавался вам. Опять же

заказ ваш выполнен в точности, как было мне поведено. И, главное, товар чистый: все это было, очень даже было... а ежели показалось недостаточно смешно, так ведь оно и на деле не смешнее происходило. Тогда забирайте назад свою подачку...

Для скорейшего, горстью же, извлечения Николкиных монеток он подтянул вверх полу пиджака, причем пришлось сперва разгрузить туго набитый карман. Он уже достал оттуда бывший носовой платок, присвоенный где-то кусок заливной рыбы в промокшей газетке... тут-то пробившийся вперед Фирсов и потряс его за плечо.

– Перестаньте перед хамом сиротку из себя корчить, – властно шепнул он ему на ухо. – Забирайте свои честно заработанные деньги и уходите от греха. Ну-ка, пропустите нас с ним отсюда!

Он выволок Манюкина из людского кольца, нахлобучил на него шапку, подобранную с полу пятнистым Алексеем, собственный шарф намотал на шею старику, так как особые виды имел на него впереди, и повлек на выход вверх по лестнице. Оставшиеся проводили сочинителя с ироническим дружелюбием, весьма пригодившимся ему в последующей деятельности.

Скандал вспыхнул тотчас по их уходе.

– А ловок ты, купец, лежачих-то бить... враз справился! – задиристо заметил еще там один с пронзительным взором курчавый парень, блеснув показным, по уголовной моде, золотым зубом. – Видать, аршин силы накопил, девать некуда!

До тех пор незнакомец Митька никак не вмешивался в происходившую перебранку и только часто, видимо в ожидании кого-то, поглядывал скося на выходную дверь и на дорогие, под стать шубе, часы. Последнее, прозвучавшее сигналом, замечанье курчавого, подкрепленное дружным гулом остальных, пробудило Митьку от оцепененья.

– А в самом деле, дружок, зачем ты обидел барина? – сквозь зубы и глядя Николке куда-то в горло, в расшитый ворот рубахи, поинтересовался он. – Если в чем и провинился, то взыскано с него, и баста, и нечего тебе чужими слезами тешиться.

– А ты чего вступаешься... видать, сам из таких? – огрызнулся Николка, задетый за живое учительным тоном. – Ведь он же барин, он кровку нашу пил... ай забывать стал, заступник?

– Выпьешь ее из такого борова! – хихикнул кто-то в стороне. – Захлебнешься.

– И впрямь, не жалея своего здоровья, приходишь в такое место и устраиваешь тарарам, – усмехнулся на его дерзость Митька. – Думаешь, длинен вырос, так и в карман тебя не положить?

– Смотри, я в драке тоже страсть вредный, – тотчас оскалился Николка, шевельнув затекшим от напряженья плечом. – Меня можно щекотать до четырех раз, а на пятый сам так щекотну, что родная мать не сгадает, с которого краю тебе начало. Не задирай!..

Собственно, из-за одной свихнувшейся манюкинской персоны обе стороны не стали бы и шума поднимать... но, значит, имелись для ссоры особые сокровенные причины, и вот в распахнувшемся людском кольце уже стояли двое, глаза в глаза, мясо против железа. Похоже было, что и раньше встречались они не раз, что Митьке лестно было опрокинуть навзничь такого исполина, да, кажется, и Николку тоже вдохновляло на подвиг единоборства смертельно-грозное великолепие противника. На сей раз лишь презрительная обмолвка пятнистого Алексея подзадержала начало схватки.

– Сбыл нашему брату на базаре гнилой картошки воз, вот и ломается на все медные. Не иначе как по морде схлопотать желает гражданин... – пробормотал он позади всех, машинально обхаживая салфеткой опустевший после Фирсова столик. – Гуляка тоже, рублишка на божье дело пожалел...

Мимолетное и свысока упоминанье о ничтожности мужицких денег и вздыбило Николку, а затоптанный обьедок хлеба под ногами обозначился как преднамеренное попрание святости его труда. Ему стало жарко, он приспустил полушубок с плеча и, словно круг готовил для

схватки, подвинул стол к стенке, так что часть посуды, поближе к краю, повалилась на сбившиеся под ногами опилки.

– А ну, выходи... вы! – гаркнул Николка, и лицо его, как бы осунувшееся от прихлынувшей силы, облеклось бледной пеленой. – Сколько вас тут, на фунт сушеных, супротив меня, Николки Заварихина, а? Рублишком попрекают! Эй, ты в меня гляди... не с ними, а с тобою говорю! – обратился он к Митьке и рукой махнул перед самым лицом, чтоб привлечь его внимание. – Мужичьего рублишка не хули: он потом нашим пахнет! Вон у кудрявого зуб во рту сияет, ровно солнце... а мы на эту золотинку всей деревней свадьбу справим, да еще на похмелье останется! Ты слышал ли, почем хлеб нонче?.. а уголь жечь за пятнадцать целковых шестьдесят кубов да скрозь тринадцать суток без сна чекмарем орудовать?.. а ты в пыльщиках, в вальщиках, в шпалотесах не ходил, по двугривенному с ходу не получал? Нет, ты ступай к нам в лес, товарищ, поиграй топором, заработай мой рублишко, а после мне проповедь читай! Эй вы все, шпана полуночная...

Наступила та пустовейная тишина, как на лугу, когда грозовой ветер с шелестом проносится по некошенной траве. И все не на Заварихина глядели, судьба которого вчерне была решена, все злым одним глазком косили в Митьку, ожидая – даже не сигнала, а лишь мановенья брови, чтобы в десяток ножей наказать обидчика и чужака. Но Митька медлил, слушал с озабоченным лицом, будто колебался в чем-то, вчера еще для него непреложном. И все равно не дождался бы в тот вечер Пчхову загулявшего племянника, не вмешайся еще одно, уже последнее перед закрытием пивной, лицо в суматоху вечера; появление его можно было уподобить лишь благодетельному ветерку в душном сумраке колодца... и сразу словно и не бывало ссоры. С изумленьем дикаря, коснувшегося чуда, на голову выше всех обступавших его со сжатыми кулаками, Николка уставился на вошедшую с улицы девушку, – видно, ее и поджидал здесь Николкин противник. Ее миловидное, чуть усталое лицо озарилось улыбкой при виде Митьки, и по тому, как он тоже просветлел при этом, все тотчас признали в ней его сестру: только сестре можно было обрадоваться так, одними глазами. Впрочем, по первому впечатлению ничего не было меж ними общего: вошедшая выглядела труженицей. Подчеркнуто скромную одежду ее несколько скрашивал лишь дорогой, даже в непогоду пушистый мех на плечах, а как будто провинившийся, до сердца достигающий взор слегка раскосых, полных синего детского света глаз придавал подкупающую душевность всему ее облику. Не красавица, она становилась вдвое милей при рассматривании, только еще больше щемило душу от ее втугую сведенных, с искринками растаявшего снега темных бровей.

– Вот и я... ты, верно, заждался меня, Митя? – поздоровалась она открытым и ясным голосом.

Она держалась совсем просто, говорила громко, словно никого не было вокруг, и всем сразу стало известно, что еще час назад освободилась в цирке, долго искала на Благуше и, верно, заблудилась бы в метели, кабы проводить ее сюда не вызвался Стасик; он ждал на улице, наверху. Взяв Митьку под руку, она поспешила с ним к выходу, и по тому, как легко и свободно она двигалась, опять видно стало, что, в противоположность брату, ей вовсе нечего скрывать про себя от людей. Еще длилось почтительное безмолвие, сопровождавшее их уход, когда, на бегу расплачиваясь с пятнистым Алексеем, Николка ринулся им вслед; похоже было, сама судьба поманила его мимоходом. Подозрительная эта, на издевку позывавшая поспешность и сберегла его от расправы собутыльников.

Он еще застал всех троих наверху, возле пивной, и некоторое время стоял невдалеке с обнаженной головой, не сводя глаз с Митькиной сестры. Вдруг, подчиняясь тому же настойчивому внутреннему зову, он сделал шаг вперед.

– Николай Заварихин... – назвался он тихо, и, кажется, та поняла, что это сделано для нее одной.

Все трое, включая и высокого и сильного Стасика, невольно улыбнулись на это дурашливое во хмелю и чем-то привлекательное бесстрашие.

– Ну ладно, ладно, развезло тебя малость, парень... со всяким бывает, – удерживаясь при сестре, строго сказал Митька и легонько отпихнул его в плечо. – Полно тебе со смертью играть... Спать иди теперь!

Потом все они ушли, а Заварихин еще стоял, полный недоверчивого восхищения к ушедшей; лишь когда погас фонарь пивного заведения, он вздрогнул и чуть протрезвел. Пора было убираться восвояси, пока временные знакомые не обнаружили его одного на пустынной улице. Кроме того, мокрый снег перешел в дрянной зимний дождь, и усилившаяся капель с оборжавевшей крыши погнала Николку домой. Прямо по снежной слякоти мостовой возвращался он к дядьке на Благушу, и разбухшие валенки его смачно хлюпали в потемках. Две женщины стояли в памяти у него: та, утренняя, боролась с этой, вечернею. Утренняя была близка, потому что плакала, вечерняя – своей улыбкой; порою они сливались воедино, как половинки разрезанного яблока. Плен их был приятен и нерушим... Без сожаления готов был теперь Заварихин возвратиться к себе в деревню для нового разбега на облюбованную твердыню.

V

Конурка барина Манюкина находилась в третьем этаже того же дома, где и пивная: чтоб перебежать из подъезда в подъезд, не стоило и пальто надевать. Кстати, вместо последнего Манюкин пользовался солдатской, от недавней гражданской войны, на вате стеганкой, про которую шутил при случае, будто она у него на блоховом меху, что и вправду соответствовало стилю всего остального манюкинского жизнеустройства. За поздним временем свет ни в одном окне уже не горел, и Фирсов, как ни косился, ничего примечательного для своей записной книжки не сумел выглядет в манюкинском лице.

– Попрошу у вас ровно одну минуточку! – искательным шепотом остановил он Манюкина, заступая ему дорогу; тот поднял голову в ушанке и ждал, переступая с ноги на ногу. – Не задержу... я – Фирсов, с вашего позволения!.. не попадалось в журналах? – Он продолжил не раньше, как удостоверясь, что пустой звук этот не произвел на собеседника ровно никакого впечатления. – Сколько мне известно, ведь вы в сорок шестом номере живете? Это чрезвычайно важное для моего дельца обстоятельство! Только вы не подумайте на меня чего-нибудь такого, в смысле коварства и подвоха... – И рассыпал перед насторожившимся Манюкиным пригоршни уверений, что хоть и литератор, однако полностью приличный человек и ни за что не обманет оказанного ему доверия.

– Ветрено очень, а я старый человек... – зябко поежился Манюкин, прикрывая ладонью горло. – Самая пора для воспалений. Вы... уж докладывайте, любезный, поскорее ваше дельце!

– Э, нет, про это так сразу нельзя-с!.. а не подняться ли нам, знаете, вовнутрь? – качнул Фирсов пальцем во мрак лестницы, откуда так и несло сырым каменным холодом. – Посидели бы, бутылочку изрядного распили б: у меня в кармане затерялась одна. И повторяю, что я не какой-нибудь там... решайтесь! Пристроимся в укромном уголке, да по-русски, знаете, из души в душу. Самое подходящее время для острого разговора: большая ночь, и древние сваи цивилизации поскрипывают от прибывающей воды, и хочется прижаться к кому-нибудь для взаимного тепла... не испытываете потребности?

– Какое от меня, к черту, тепло!.. я, собственно, и не прочь бы, да вот насчет шума. Видите ли, сожитель у меня по комнате... – поддавался на соблазн Манюкин.

– А что, больной, нервный или, скажем, из блюстителей? – поинтересовался Фирсов, хотя в точности и заранее знал самое размещение жильцов в помянутой квартире.

– Куда там... – отмахнулся Манюкин, – просто выдающийся нашего времени негодяй. Управдом, но числит себя в борцах за всемирную справедливость и страсть любит, чтобы его называли другом человечества... между прочим, если такой анекдотец услышит, то в уборную ходит смеяться... воду спускает при этом, чтоб никто не слышал, не застал его на запретном, на человеческом. Хуже килы остерегаться следует! – Бывший барин выжидательно помолчал, но Фирсов не уступал, упорствуя на своем, и тот покорно преклонил голову. – Пойдемте уж... что у вас там, в бутылочке-то?

– Красенькое, обломки империи... из-под прилавка, из одного тут великокняжеского погребка, – и показал в бумажке.

– А, это хорошая вещь... давайте-ка, я сам ее понесу, а то, не ровён, разобьете в потемках! Лестница у нас с изъянами, а управдом вдобавок лампочки экономит, чтоб не украли...

При полном безмолвии ночи и чужого сна они подымались в промозглой темени лестницы. Пахло мокрой известкой и щенком. В разбитое лестничное окно задувала непогода, и еще почудилось, будто блеснула там и пропала звезда. И хотя никакой звезды не было, Фирсов ее запомнил и как бы в кулаке зажал, ибо и для звезды имелось готовое место в его еще не написанной повести.

– С вашего позволения, отдышусь немножко! – задохнулся на четвертом марше Манюкин, прислонясь к перилам. – Ишь глубина-то какая черная... так и тянет. На самом-то низу безопасней: падать некуда! – Темнота заранее располагала к доверительности.

– Высоконько обитаете! – участливо поддакнул Фирсов.

– Тут еще один этаж, последний... – шепотом сообщил Манюкин, и снова спотыкающийся его шаг зашаркал по ступенькам.

Во мраке квартирного коридора Фирсов протирает очки, прислушиваясь к непонятным шорохам ушедшего вперед хозяина.

– Разуваюсь... уговор у меня с сожителем, – предупредительно пояснил из тьмы Манюкин.

– Может, и мне? – осведомился гость.

– Зачем же, ведь вы в калошах!

Проведя гостя в дальнюю, соседнюю со своею и пустовавшую после ремонта комнату, Манюкин скоро притащил туда стулья и лампочку. При вонючем керосиновом свете, еле проникавшем сквозь закопченное стекло, стало видно, что заодно он успел раздобыться и посудой под обещанное угощенье.

– Винишком вашим соблазнился: не воздержан стал к сему самозабвенью... – откровенно сознался он, опускаясь на краешек табуретки и стеля газету на другую такую же для гостя, против себя. – Так о чем же мы беседовать станем? Вроде бы все о России-то напрочь отбеседовано!

Фирсов оглядел комнату, которая оказалась двухоконным, пустым, как площадь, кое-где свежевыбеленным кубом: пахло клеевой краской, известковые потеки сохли лужицами на полу. В открытую форточку проникала простудная сырость, по стене то и дело совались две несообразно высокие, косолапые тени: лампочка стояла на полу. Пока, шелкнув портсигаром, гость нагибался к лампе прикурить, Манюкин рассмотрел его украдкой. Казалось, голова Фирсова состояла из одного лба, – такое заключалось в нем упорство; из-под навеса бровей высматривали не слишком добрые, раздевающие и слегка навькат глаза. Фирсов почесал себе под горло, заросшее кудреватой бородой, и пустил начальный дымок.

– Как вы уже имели оказию догадаться еще в пивной, я по возможности в художественной форме описываю людей, их нравы, быт... ну и всякое остальное, дозволенное к описанию. Простите, я вот только эту дырку в небытие захлопну. – Он направился было к окну и чертыхнулся через мгновение. – Ух, до нее и не дотянешься... да она еще и без стекла, черт! – Удачно обернув форточку газетой, он вернулся на прежнее место. – Итак, я сочинитель... хотя и со чрезмерной пристальностью, попрекают, в том единственном смысле, что о потайных корнях человека любопытствую, об отходах истории и о тех еще сокровищах, что хранятся не в показных витринах, а в потаенных запасниках культуры. Для меня каждый человек с заветным пупырышком, коим он отличается от ближнего, не сливаясь в единое, так сказать, мерцающее тесто... и именно о пупырышках этих любопытствую я. А так как лучше всего видны они на голом человеке, то как раз им-то, голым человеком, и занимаюсь я, в высочайшей степени уважаемый... уважаемый...

– Сергей Аммонычем меня когда-то звали... – шевельнулся Манюкин, перестав разливать по чашкам гостево вино. – Голый, это правильно вы заметили, голый я...

От усталости он сидел как-то комковато, словно брошенный на стул как пришлось; желтый керосиновый свет резко выделял все его морщинки – безобманную запись пережитых страстей и лишений. Но Фирсова интересовала лишь последняя по времени, односторонняя, глубокая, как надрез; спускаясь от переноса в угол рта, она как бы перечеркивала остальные, черта крайнего человеческого разочарования.

– Как бы это появственней выразить вам мысль мою... человек же не существует в своем чистопородном виде, а всегда в некотором, так сказать... – Фирсов озабоченно искал нужное

словцо, – в орнаментуме! Ну, нечто вроде занавесочки для прикрытия первородных потребностей... бывает из простенького ситчика, но, случается, и накладного золота иногда, это разумеется в смысле традиций, врожденных привычек, самих идей, наконец. Так вот, человек без всякого орнаментума и есть голый человек. Тем и благодетельна из всех прочих революция наша, что сорвала с нас обветшавший и обовшивевший орнаментум. И верно, пронесился до дыр, тесноват стал, перестал греть русского человека... особенно в звездные ночи! Вот и охота мне взять одного на пробу, да и посравнить годков через тридцать – сколько и какого нарастит на себе нового-то орнаментума... Извиняюсь, вы что-то возразить имели?

– Нет, я ровно ничего не имел возразить, – успокоил его Манюкин. – Я только попросить хотел: не гудите столь громко, а то сожитель мой проснется! – и кивнул на дощатую, погуще оклеенную газетами стенку позади себя.

– Уже теперь все устанавливается по будничному ранжиру, – побавил Фирсов голосу, глядясь в черную густоту вина. – Пошатнувшаяся было жизнь возвращается в положенный для цивилизации порядок: чиновник скребет пером, водопроводчик свинчивает и развинчивает, жена дипломата чистит ногти... а, скажем, не наоборот? Организм обтягивается новой кожей, ибо без кожи жить и нечистоплотно, и жутко, и просто холодно. Безумно люблю наблюдать, в какой мере свыше чем тысячелетнее ношение определенной одежды повлияло на душевно-нравственное устройство человека. Голый исчезает из обихода, вот и приходится в поисках его спускаться на самое дно... Боюсь, не очень понятно изложил? Извиняюсь, я вам пепел стряхнул на коленку...

– Пустяки, на меня теперь все можно... – вздрогнул Манюкин, и часть вина выплеснулась из переполненной чашки. – Действительно, не понял: вы уж не меня ли описать хотите? Гол я действительно... наг, сир и общедоступен для описания! А ведь гейдельбергский студент, даже что-то о сервитутах учил, а нынче из всей римской истории удержалось в памяти одно только слово: Публий... Смешно! – горько сознался он. – Все, все утратил, будто и не было ничего! А ведь было, было! Дедовские книги из усадьбы, инкунабулы разные на семи грузовиках вывезли в революцию; так что очень даже было, но разве плачу я!.. Чему вы усмехнулись?

– Это когда про Грибунди вы давеча рассказывали, то же выражение попало у вас... Мельком! Нет, собственно, не в вас я целился. А вот скажите, Векшин, Дмитрий Векшин, кажется... в этой же квартире живет? Признаться, его-то мне и надо, и для прикрытия вы уж позвольте изредка забегать к вам! Соблазнительно кусок этот прямо с кровью из жизни вырвать, пока в нем не ослабло, не распалось мышечное напряжение. В этом смысле я уж целиком и всю эту квартирку захвачу, с вами в том числе... с вашего позволения, разумеется.

И с целью приручить заранее этого несколько задичалого человека, сочинитель довольно подробно изложил Манюкину свои профессиональные планы, утаив лишь главные сюжетные ходы, даже коснулся архитектуры будущего произведения и наконец закинул в душу Манюкина искусительную возможность посмертно закрепить в литературном произведении, причем в приличном трагическом рисунке, то есть с сохранением личного достоинства.

– Ну, раз с соблюдением достоинства, то пожалуйста... – задумчиво пошутил хозяин, допил чашку и как-то безотчетно перешел к окну. Притушив гаснущую лампочку, Фирсов последовал за ним.

Наползало утро. Пробившись сквозь отсыревшую газету, шустрый рассветный ветерок из форточки путал и сплетал воедино два табачных дымка... Зыбкий сизый воздух за окном пестрел от хлопьев падающего снега, а лужи на мостовой снова успели затянуться снежком. В этот час особенно запоминались и щемили сердце – хрупкая ветхость здешних человеческих жилищ там внизу и опустелость словно вымершей окраины.

– Спать еще не хочется? – спросил Фирсов.

– Расхотелось... – вздохнул Манюкин. – Нет, я не жалею: привык и к холоду, и к обиде, и прежде всего – к самому себе. Не жалею, что какая-то там длинная и глупая трава... – он

кивнул на единственный тополек во всем пространстве, охваченном рамой окна, – и в стужу надеется на что-то, ждет весны, а я, человек, заоченел навечно. Видимо, самим существованием вещи оправдываются ее назначение и смысл. Ничто, милый друг, не противоречит ныне моему мировоззрению. Я научился понимать весь этот шутовской кругооборот!

– А я люблю, когда снежок падает, – невпопад отозвался Фирсов. – Прекрасен город в снегу... Кстати, это самая большая вещь, которую себе на шею выдумал человек...

– И поразительно: все я теперь знаю, но не бегу: от себя бежать некуда! – вырвалось у Манюкина со странным смешком. – Бежать надо, когда есть что сохранять. У меня не осталось... – Он показал Фирсову пустую чашку. – Выпито и вылизано-с!

Но тут в тишине раздались шаги. Кто-то шел по коридору, не скрываясь и не опасаясь потревожить лютого манюкинского сожителя. Сергей Аммонич метнулся было притворить приоткрывшуюся дверь во избежание неперемного вторженья, как уже вошел тот, о ком все время с нетерпеньем помышлял Фирсов. И хотя в мыслях он целиком владел судьбой этого человека, дыханье сочинителя сейчас почти замкнулось от волнения.

VI

Неизвестно, где он успел дополнительно побывать после пивной, но теперь Митька был бледен и, может быть, слегка пьян, хотя внешне это не сказывалось ни в речи его, ни в походке. Держался он прямо и насмешливо, только лоб чуть лоснился от бессонной ночи. Следы непогоды темнели вдоль его длинной, нараспашку, шубы, смятая шляпа торчала из кулака. Стоя в дверях, он поочередно оглядел обоих и мало был склонен, по-видимому, к мирной задумчивой беседе.

– Ага, поймал, подпольные секретцы ведете? – задиристо бросил он с порога, приглядываясь и не в силах опознать против света чем-то знакомое лицо манюкинского собеседника.

– Здравствуйте, Дмитрий Егорыч, – сказал Фирсов.

– ...кто? – опросил тот с колючим вызовом.

– Фирсов, – без заминки ответил сочинитель, возвеселясь чему-то.

– Поди, в тресте бумагой шуршишь? Несуществующие товары переписываешь? – с озлоблением на что-то далекое, наболевшее и свое перечислял Митька.

– Нет, я книжки про людей пишу, – на пробу сообщил Фирсов, не отводя таких же сощуренных глаз.

– А-а... – покровительственно и смутясь чего-то протянул Митька. – А я вот парикмахерствую, головы оформляю. И сколько, понимаешь, ни стригу, ни одной правильной не попалось, круглой... все какие-то, черт, бутылочные! – Без вражды или дружбы пока они изучали друг друга, и вот уже нельзя было с достоверностью утверждать про Митьку, что он пьян. – Опять же выпиваете на невыясненные средства! – укорительно заметил он, пиная ногой пустую бутылку.

Не в меру громкие Митькины восклицания поминутно приводили Манюкина в мелкий пугливый трепет.

– Дмитрий Егорыч, ради создателя, потише! – умоляюще жался он. – Разбудим, так ведь погубит он меня... он же рядом спит, Петр Горбидоныч!

– Спит? – с вызывающей дерзостью возвысил голос Митька. – Кто смеет спать, когда я хожу... мотаюсь взад-вперед по земному шару! Никто не заснет, пока Дмитрий Векшин не уляжется... – И потом, идя на прямой скандал, несколько раз ударил ногой в оклеенную газетами перегородку. – Эй, мелкий чин... – загремел он, к великому ужасу Манюкина, – самовар китайский, чернильная кляуза, вставай!

Немедленно за стенкой что-то задвигалось, зашелестело, заругалось, огромное, важное, суставчатое, бесконечно злое. С уличающей бутылкой в руках Манюкин еще метался по комнате, как дверь из коридора распахнулась и влетел разбуженный сожитель, встреченный смешливым приветствием Митьки и легким вскриком Сергея Аммоныча. Существо это, мелкого роста, дрянного сложения и действительно с рыжей кляузной какой-то бородкой, закутано было в спадающее одеяло, из-под которого то и дело высовывались как бы приплясывающие ноги; бегающие с точечными зрачками глаза его так и выщупывали наиболее выгодное в создавшейся обстановке место для начального укола.

– Так-с! – только и вымолвил зловеще Петр Горбидоныч Чикилев, но Манюкин уже затрепетал, и спрятанная было за спиной бутылка с цепенящим душу грохотом покатила по полу. Тотчас сожитель заглянул справа, слева, и Фирсову показалось, даже через голову назад, после чего, высвободив руку из одеяла, торжественно устремил перст на Манюкина. – Вот, я вас застукал наконец, гражданин Манюкин. Пьянствуете, а налоги, характерно, за свободную профессию платить не желаете? Мало того что нарушаете обязательные постановления, которые служат гражданам путеводной звездой к новой светлой жизни... Мало того что впадаете с кем попало в подозрительнейшие разврат и роскошь!.. – Бутылка валялась иностранным ярлыком

вверх, выдавая преступные связи Манюкина. – Но вы еще мешаете работникам ответственного труда исполнять возложенные на них государственные поручения!..

– Какая же в постели работа... сколько я смыслю в этом деле, ведь вы же спали, Петр Горбидонович! – резонно заикнулся Манюкин.

– Зарубите себе на носу, – на высокой ноте резанул тот, – в отличие от некоторых прочих я круглосуточно нахожусь при исполнении служебных обязанностей, так как и во сне не покладая рук забочусь о благе общества. И в помянутом качестве я вам не позволю, я вас раскрою, подвергну изъятию, пресеку... через домком, через милицию буду действовать и даже... – Словом, он еще немало накричал там – о расстроенных финансах республики, о своем истощенном организме, а также о рычагах воздействия на уклоняющихся от долга обывателей.

В совершенном столбняке, затылком откинувшись к стенке, Манюкин и не пытался защищаться, чтобы в дополнительной степени не разъярить своего сожителя. При таком накале, если даже Митька и был чуточку пьян, весь хмель соскочил с него разом. Нужно было немедленно остановить, укротить Чикилева, пока тот не покатился по полу во вращательном состоянии, нанося повреждения коммунальному имуществу. И лучше всего было сделать это, воздействуя на мужское самолюбие Чикилева.

– Невест-то распугаешь, кляуза! – засмеялся было Митька, становясь ему на пути. – А еще жениться собрался. Да ты взгляни, какое у тебя лицо, Чикилев. Купил бы себе недорогое зеркальце и устыжался бы хоть по часу в день!

– Ничего-с, я еще девушкам не противен, – молниеносно отпарировал Чикилев, сторонкой пробираясь к ускользавшему от него Манюкину. – Пустите же меня, невыясненного поведения гражданин! – напирал он с кулаками на Митькину грудь.

– Но-но... куда тебе, экий зарывчатый господин? – от души потешался Митька.

– Пустишь? – шурился Чикилев.

– Нет, – смеялся Митька.

– Вор... – теряя всякое соображение, визгнул Чикилев. – Ты есть вор, и мы все это знаем. – Он кивнул на кучку разбуженных жильцов, в причудливых утренних одеяниях толпившихся у дверей. – погоди, я тебя расшифрую!

– Как ты сказал? – покачнулся Митька, меняясь в лице и странно усмехаясь. – Повтори!

– Ну, вор... – слабым деревянным голосом повторил Петр Горбидоныч.

Тогда, взяв Чикилева за плечи, Митька с добрых полминуты вглядывался в рыжеватое, чуть склоненное перед ним набочок лицо, так что только смертельная ненависть помогла тому не опустить глаз при этом, однако все уже настолько были уверены в печальной чикилевской участи, что готовы были звать милицию к безжизненному телу управдома... как вдруг, выпустив врага из рук, Митька с побитым видом побрел вон из комнаты, провожаемый расслабленным кряхтением Манюкина и недоумением самого Чикилева. Впервые на памяти Благуши фирсовский герой уходил всесветно посрамленным, но молчание его одновременно и пугало, потому что, скинутый на ступеньку ниже, человек этот становился еще опасней... Словом, Петр Горбидоныч непременно ринулся бы вослед ему с извинениями, если бы не опасался, что здесь-то Митька каким-нибудь жестом и поправит допущенную оплошность.

Как раз на Митькином пути оказалась потухшая лампочка, – Фирсов ждал, что он собьет ее ногой, именно так слагалось это место ненаписанной повести. Однако Митькина нога избежала искушения, и тотчас же после его ухода из кучки жильцов выступила на шаг та самая Зина Балугева, которую всего несколько часов назад профессионально любовался Фирсов.

– Вор, ты сказал? – с брезгливой гордостью переспросила она Чикилева. – А ты знаешь ли, кем еще был в своей жизни этот вор и сколько пуль, чьих и каких, ржавеют в тоске по Митькину лбу, знаешь? – Она преувеличивала как прошлые подвиги Митькины, так и его злодеянья, и Фирсов по самому тону ее установил, что лишь глубокая и неистребимая привязанность толкнула ее на людях вступить за этого павшего человека. – Да если он и берет чужое, так

ведь ты лишь по трусости казенного имущества не крадешь! А впрочем... откуда у тебя столько кнопок, все коммунальные постановления по сортирам развешиваешь? Ты даже письма ко мне любовные под копирку пишешь, трус, чтобы на всякий случай оправдательный документ у себя иметь. Ну, надевай сапоги на руки, беги на четвереньках на Митьку доносить! Ох, дожدهшься ты, Петр Горбидоныч, что опишут тебя однажды в газетке, какой ты... нехороший человек! – С усмешкой оскорбительней пощечины она машинально отвернулась, ища клетчатый демисезон.

Фирсова в комнате уже не было; он совершал первую атаку на неопределимые для него сокровища Митькиной подноготной. Мучительно покрутившись в коридоре близ заветной двери и кашлем испробовав звучность голоса, он слегка взлохматил голову и приотворил дверь. Рядом, за спиной у него раскрывалась не менее завлекательная тайна Зинкиной любви, но Фирсов теперь и грома позади не услышал бы, всеми фокусами внимания сосредоточась на Митьке. Он колебался: именно сейчас, в минуту упадка, своевременным словом поддержки легче всего было пробиться в Митькино доверие, равно как вполне возможная неудача бесконечно отдаляла успех задуманного предприятия.

Митька лежал одетый на кровати, глазами в потолок, а соскользнувшая с плеча шуба валялась на полу, мехом вверх, и рукав мокнул в лужице, натекшей с подоконника. Из личного Митькина имущества только простецкий сундучок виднелся под кроватью да именная кавалерийская шашка неожиданно висела на стене. Словом, ничто в этой комнате, пустой и тошной, как тюремная камера, не выдавало нынешнего ремесла ее владельца. Со стола свисали несмятые, трехмесячной давности газеты вперемежку с запыленной обиходной мелочью. Все указывало, что Митька, только что вернувшийся из путешествия, вообще временный постоялец здесь: поживет и съедет.

– Я к вам этак запросто, без позволения, товарищ Королев... ничего? – невинно начал Фирсов, притворяя дверь, чтоб не отвлекал глухой плеск скандала. – А если позволите, я даже и присяду! – и сделал беззаботный жест, но предусмотрительно не сел, не получив хоть еле приметного согласия в ответ. – Ну и зубило же этот чертов Чикилев... впрочем, зубило с эпохальным оттенком! – Митька все молчал. – Поразительно, между прочим, очки грязнятся...

– Что ж, протри себе очки, – без всякого выражения процедил Митька.

– Я и протру, если позволите! – Пробный фирсовский камешек предвещал удачу. – Признаться, месяц цельный ищу знакомства... давно и полутайным образом наслышан о вас. Уж больно пестрая молва идет о Векшине: одни чуть ли не в былинные Кудеяры вас зачислили, с последующим переводом разбойника в монахи, другие же русским Рокамболом величают! А один наемни даже советским Чуркиным на людях вас обозвал...

– Кто таков? – угрожающе пошевелился Векшин.

– Да так, один тут, при вдове живет... бог с ним! – уклонился Фирсов, действительно принимаясь за протирку очков, чтоб занять тоскующие руки. – Для меня же ремесло ваше как нельзя более кстати... потому что как вас ни гни, в любую ситуацию сгибай, все равно никто в целом свете за вас не вступится. Скажу, забегая вперед, что в судьбе вашей заключена для меня весьма острая и злободневная темка овладения культурой!.. без чего весьма многое может у нас обернуться в высшей степени наоборот. – Судя по злomu нетерпению в Митькином лице, пришло время назвать себя и обозначить цель посещения. – Видите ли, по роду занятий я до некоторой степени являюсь... – И, поежившись, произнес ненавистное для себя самого слово.

– Сочинитель?.. и чего ж ты на свете сочиняешь, небось доносы вроде Чикилева? – насмешливо переспросил лежавший, покосившись на носок своего сапога. – Да ты видал ли сочинителей-то хоть раз? Они в седых гривах бывают, на манер пустынных, а ты... Ты, братец, уж не легавый ли? – Он стал слегка приподниматься, кажется – за табаком, но Фирсов благоразумно приотступил к порогу. – Куда ж ты, ай обиделся?

Не в характере Митьки было, только что получив несмыслимое огорчение, причинять другому такое же, – и все-таки Фирсов решил отложить знакомство со своим героем до луч-

ших времен. Важно было для начала хоть закрепиться в Митькиной памяти, что облегчало повторную атаку в будущем.

– Ничего, и это тоже пригодится мне для повести, благодарю вас... тем более что всего лишь мимоходом, на пробу забежал! – корректно произнес сочинитель, пятясь в дверь и облачаясь в очки, протертые до половинной ясности.

Ничто более не задерживало его тут, и скоро наружная, войлоком обитая дверь бесшумно закрылась за ним. Еще сбегая по лестнице, Фирсов достал записную книжку; привычная к приступам внезапных вдохновений, она сама раскрылась как раз в нужном месте. Нащурив глаза, неузнаваемо осунувшись в лице, Фирсов краткую минутку прислушивался к столкновениям противоречивых впечатлений, а карандаш, подобно танцующему перед стартом бегуну, чертил пока бездельную виньетку. Небогат был первый улов, – Фирсов принялся вынимать застрявшую в неводе рыбешку.

«Манюкин – достаточная для диагноза деталь из отправленного на слом механизма. Усталость человеческого металла, или как отцы обкрадывают потомков. Мужиков считает на штуки, а книги на квадратные сажени. Непременно должна оказаться дочь, вряд ли сын, и тут умный разговор перед разлукой навечно. А культурку-то старую непременно впитает пореволюционная новь; иначе крах. Мы, народ, прямые наследники великих достижений прошлого. Народ существует в целом, в объеме всей своей истории, так что и мы, руками наших дедов, пахали великие ее поля. И даже очень. Откуда же начинать, однако: 862 или 1917?»

Митькин лоб честный, бледный, бунтовской. И Митьку и Заварихина родит земля в один и тот же час, равнодушная к их различиям, бесстрастная в своем творческом буйстве. Первый идет вниз, второй вверх: на скрещении путей – неминуемое личное столкновение и ненависть. Оба вестники пробужденных миллионов, значит жизнь и борьба начинаются сначала? Любая эпоха только разбег к очередной за нею...

Чикилев, старый мой знакомец, недавно описывал мое имущество за невзятие патента на литературные занятия – однако не опознал меня при встрече. Благонадежнейший председатель домкома, финагент по призванию, на службе кличка Солонина в кителе. Должность выполняет резво и радостно, согласно обязательным постановлениям, но, при случае, может скушать весьма многое. Надо отдать ему справедливость, подозрительность его, кажется, происходит от сознания недостатков собственного мышления... Все же карандашу моему гадко писать про него».

В этом месте сломалось острие карандаша. Фирсов спрятал книжку и огляделся. В прямоугольник парадного входа западал легкий резвый снег. Наступало утро, квартиры изливали на лестницу неясный гул. В углу, дрожа от холода, сидел желтый бездомный пес.

– Устал, брат? – высказался Фирсов и не побрезговал погладить рукой его мокрую спину. – Все бегаешь? И я, брат, бегаю, и я обнюхиваю все встречное. Иные думают про нас, что мы с тобой – лишние мечтатели, а мы-то как раз и знаем о жизни лучше всех: запах ее и вкус. И знаешь, несмотря на огорчения и слякоть, она лакомая, выгодная: вкусив, умираешь от нее незаметно. Прощай, собака!

С минуту он мучительно обдумывал, не кликнуть ли ему проезжавшую мимо извозчицью пролетку. Рука нащупала в кармане две холодные монетки, только две. Поэтому он не кликнул, а с неизменной бодростью зашел пешком.

VII

Привыкший к подводным камням своей профессии, он не слишком огорчился неудачами, сочинитель Фирсов. Опять же, ему еще раньше удалось накопить кое-какие разрозненные подробности о Митьке: скитаясь по трущобам столицы, он неоднократно наткнулся на Митькиных друзей, осведомленных о той или иной страничке его прошлого. Подобно трудолюбивой пчеле, склеивал Фирсов воедино собранные пустячки, так что в замысле уже готов был сот, хотя пока и без меда... Тут он и встретил Саньку Велосипеда, мелкого столичного вора, самого, наверно, безобидного изо всей московской плутни.

Неизвестно, чего там наболтал быстро хмелевший Санька за даровым сочинительским угощением, но только, по Фирсову, еще совсем недавно Векшин состоял на виду среди большевиков, чуть ли даже не в политработниках небольшой кавалерийской части, чему трудно поверить, учитывая последующие векшинские превращения, и что следует отнести за счет безудержного авторского стремления любой ценой приукрасить своего до неприглядности падшего героя. Когда же со всероссийских окраин двинулась в поход контрреволюция, то будто бы Векшин целую неделю исполнял даже комиссарские обязанности, – тогда-то и приключились с ним крайне загадочные обстоятельства, так и не получившие в повести удовлетворительного толкования. Санька рассказывал, что в дивизии к Векшину относились с той особой, железной любовью, какой бывают связаны бойцы за одно и то же великое и справедливое дело. Одаренный словно десятком жизней, человек этот водил полк в самые опасные переделки и рубился – будто не один, а десять Векшинных рубились. И когда наваливалась на него белая гибель, неизменно выносил комиссара из любого огня конь, широкогрудый иноходец в яблоках. Ординарец Митькин, Санька Бабкин, впоследствии по кличке Велосипед, говорил про Сулима, что тот имел человецкую душу и ходил ровно как вода.

Фирсов писал:

«...в те годы дрались за великие блага людей, в суматохе мало думая о самих людях. Большая любовь, разделенная поровну на всех, согревала порою не жарче стеариновой свечи. Любя весь мир любовью плуга, режущего покорную мякоть земли, Векшин только Сулима дарил любовью нежной, почти женственной. Когда в одной рукопашной схватке пуля между глаз сразила коня, Векшин так вел себя в тот вечер, словно убили половину его самого. Был очень молод Митя Векшин: не утешили его ни удача, ни вино, ни веселая дружба соратников.

И будто бы ночью он выкрал убийцу Сулима из прифронтового штаба, где тот дожидался допроса, и вывел за березовую, точно дальним пожаром окрашенную, какую-то до дрожи сквозную рощицу. Ему помогал в этом деле Санька Бабкин, послушная Митина тень в те годы. Прямо над колючей проволокой в три кола, в темных кулисах неба висела багровая луна. Даже шелест листьев не нарушал тишины.

– Знаешь ли ты, поручик, кого убил? – тягуче спросил комиссар Векшин, щурясь на растерзанный китель такого еще молоденького, а уже волчонка, достигшего своих чинов в первые же полгода гражданской войны. Тот молчал, потому что после дневной жестокой сечи не угадывал, о ком идет речь. – Ты отнял у меня Сулима... – подсказал Векшин, и будто бы тонкая его бровь вскинулась, как лук, метнувший стрелу. – Теперь отдай мне честь!

Тот повиновался: слишком тревожны были и багрец луны, и мгlistая призрачность ночных далей, и трепет озябшей рощицы, и повелительная чернота комиссарских зрачков... Но едва пленник поднес к козырьку нерешительную руку, коротко свистнул воздух, и Векшин отнял ее у офицера, верно в отместку за Сулима, – так что она упала, как ветка, к его ногам. Несмотря на боевую отвагу, Санька Бабкин, оказавшийся малодушней своего хозяина, глухо охнул при расправе, приседая на росистую траву. Позже, впрочем, он нашел в себе силу оттащить полумертвого в придорожную канаву во исполнение комиссарского приказа».

Неизвестно, что толкнуло Векшина на его вполне бессмысленный поступок: проба нового клинка или опыт волевой закалки или чем-то связать себя хотел, но только вряд ли высокая философия, придуманная ради этого случая Фирсовым. Митин поступок не получил широкой огласки, да и мало ли в ту пору бывало по обе стороны фронта проявлений взаимного ожесточенья... Однако вслед за тем Векшин стал впадать во вредную, потому что молчаливую, задумчивость, лишавшую его сна и внушавшую подозрение товарищам. Вдруг он заболел, и тут секретарь полковой ячейки, Арташез, верный друг и, кстати, солдат той же роты, где в шестнадцатом году бунтовал и Векшин, отправился навестить прихворнувшего приятеля. Как лекарство нес он Мите Векшину весть о представлении его к ордену Революции, радуясь за него братской радостью. На крыльце векшинской хаты его долго не пускал Санька Бабкин; беспоясый и сам местами поцарапанный, он с выпученными глазами врал что-то о заразительности хозяиновой болезни. Арташез оттолкнул ординарца и вошел, – представшее с порога зрелище комиссарского недомоганья потрясло его почти до слез.

По всем правилам классического русского запоя, на чисто выскобленном столе подле деревянной миски с квашеным овощем стояла початая, не первая, видно, бутылка крестьянского первача, – сам же Векшин, сверх прочего повязанный Санькиным ремешком, лежал на полу, издавая всякие несуразные восклицания; осколки битого стекла поблескивали под лавкой... Присев на краешек скамьи, секретарь взял соленый огурец со стола и, осмотрев, словно это могло помочь ему в диагнозе, вернул обратно. Затем, стремясь доказать другу недостойность его поведения, он стал говорить ему многие правильные вещи вроде того, что лучше заниматься живописью на досуге, как художник Федотов, чем пить водку.

– Я замечаю темное облачко в твоей душе, Дмитрий... – не получая ответа, продолжал он тоном врача пока, а не судьи. – Не стесняйся, вынь его нам, положи на стол свое облачко, чтобы мы, твои боевые товарищи, могли его рассмотреть и помочь тебе сообща. Если ты справляешь поминки по любимом Сулиме, то не слишком ли много грусти для одного коня? И, кроме того, некрасивый ночной поступок... ну, с этим! Я и сам имею бешеный характер, но... зачем? Или ты думаешь, что сейчас даже тебе все можно, как огню при сотворении мира?... то есть что подумал, то и можно?

Векшин лежал на спине, с закрытыми глазами, и лишь слабым движением пальцев обозначалось, что он живет и слышит.

– Или ты увидел какую-нибудь дальнюю угрозу в его зрачках? Мне известно, по секрету говоря, кое-кем овладевает порой странное беспокойство. Вот мы бьемся, льем свою кровь и так горим, что и вокруг все обугливается... но когда-нибудь мы устанем и заснем. Тогда ворвется третий, молодой и бешеный, как мы с тобой... не завтра придет, не к нам с тобой именно, без ножа даже. Оглянись на историю, Дмитрий!.. У нас с тобой вон виски сесть начали, а он, возможно, еще и не родился; так что не дано нам ни шашкой достать его, ни хотя бы подарить заблаговременной конфеткой. А может, он уже и ходит в приготовительный класс, учит таблицу умножения, а? Такой прилежный худенький мальчик с мечтательным взором... как были и мы с тобой когда-то. И он улыбается, а я не знаю – чему. И тогда невольно хочется заткнуть все щели кругом, откуда может появиться этот подросток, по неизвестному нам поводу улыбающийся потомок... Теперь передаю слово тебе, Дмитрий: провергни, дополни или подтверди!

Таким образом он сам подсказывал Векшину мысли, которые оправдали бы любую предупредительную, в отношении будущего, меру безопасности, стоило Векшину головой кивнуть, – тот молчал, однако. Но вдруг тяжкий трехдневный хмель развязал векшинские уста. Пагубные горячечные откровенья его подслушал у двери Санька Бабкин и, конечно, вряд ли продал бы сочинителю за пиво трагедию своего хозяина, если бы не рассчитывал подобрать к ней какой-нибудь объяснительный ключик с помощью просвещенного человека, каким в его глазах был Фирсов. И без того бессвязные, Санька вдобавок передавал векшинские речи на

уровне своего понимания, а Фирсов сверх того приложил к ним свое собственное путаное толкование. Таким образом, векшинский бред, как он был представлен в фирсовской повести, сводился к мысли, что революция узконациональна, что это русская душа для себя выиграла перед небывалым своим цветением.

– Врешь... – в Санькином пересказе кричал Векшин, обнимая гладкий приятелев сапог, чего уже потому не могло быть, что руки у него были связаны. – Еще не остыла моя кровь, еще струится в жилах и бьет пожаром, еще не жил я на свете! Дай мне...

К сожалению, по тогдашнему его состоянию Векшин не был способен к более толковому изложению своих взглядов по несомненно интересному вопросу, и, опасаясь неблагоприятного впечатления от описанной сцены, Фирсов вложил в уста Арташеза исчерпывающее рассуждение в том примерно роде, что наиболее благодетельные революции совершаются не ради одной страны, а лишь для человечества в целом, и тот, кто первым вырывается из рабства, обязан поделиться с другими плодами своей победы. Он имел в виду, что любое счастье становится прочным благом, лишь когда оно является уделом всех. «Сам знаешь, кацо, чуть солнышко в одной местности пригреет посильней, немедленно образуются стихийные перемещения воздушного океана с разрушением жилых построек, гибелью виноградников и многими другими нежелательными последствиями!»

Видимо, в тот раз Векшиным были допущены и другие еще более неуместные для его должности выражения, потому что вскоре секретарь ячейки ушел без единого слова на прощанье. Рапорт в политотдел дивизии он писал полдня и неоднократно рвал написанное, прежде чем вытравил малодушные оттенки, способные смягчить вину товарища. Ему пришлось собрать в кулак свою незаурядную волю и побороть зовы дружбы. «Стояла трудная пора, и черные двуглавые орлы со всех сторон стремились на красную столицу...» – так округлял Фирсов этот уже вполне достоверный эпизод.

В повести было довольно живо описано, как денька через два перед фронтом выстроенной части сам Векшин огласил приказ по дивизии о своем отстранении от должности, – исключение из партии состоялось сутками позже. Церемония проходила необычно, но в те годы молодая армия лишь создавала, на ходу примеривая, свои боевые традиции. Шеренги бойцов взволнованно гудели, утро было пасмурно и бледно, серый отсвет его навсегда сохранился на векшинском лице. Вдруг птицы кругом, как при залпе, шумно поднялись на воздух с комковатой пашни, запущенной ночным снежком... Примечательно, что со середины приказа Векшин, как оно и бывает при этом, уже не слышал своего голоса. Дочитав же, встал крайним левифланговым в строй: каждый клинок был на учете. Полк снимался с кратковременного отдыха и уходил в бой.

Спеша на выручку своего героя, Фирсов еще пытался заверить читателя, что Векшин с не меньшим рвением рубился и теперь за честь и свободу молодой республики, даже легенду присочинил на ходу, будто бы его не раз видали одновременно чуть ли не в четырех местах. Но тот же Санька проговорился, что лишь пепел векшинский, скрепленный обручами воли, мчался теперь в седле к поставленной далече цели. Верно одно – что после разжалованья бывший комиссар получил тяжелое ранение, к счастью, обошедшееся без увечья. Когда же гражданская война кончилась, Векшин однажды по весне, прямо из госпиталя, прибыл в столицу.

«Там начиналась вторая, бескровная вначале, схватка с полуотступившим врагом, – писал Фирсов, – только борьба стала хитрей, и оружием ее стали цифры. На каждом уличном углу, в каждом семействе, в каждой голове установился фронт. В витринах вспыхивали приманки нэпа, там и сям загорались цветные огни увеселений, то и дело в беседах с уха на ухо слышался двусмысленный смешок. Исподлбья следили демобилизованные солдаты революции, как расцветали соблазнами магазинные окна, вчера еще простреленные насквозь: теперь они будили голод, страх и недоумения. Впрочем, Митю не пугали упестрившиеся углы или не в меру залоснившиеся лица. С насмешливым презрением укротителя взирал он на оживление

нечистой стихии, льстясь тайной мыслью – «захотел – и стало, повелю – и уйдут!». Он еще не знал, что в ногу с ним вышел его двойник, Заварихин. Тем временем незаметно набежали жаркие майские деньки. . . »

В один из них Векшин бездельно торчал возле знаменитого в тогдашней Москве гастрономического оазиса, и Санька Бабкин, по прежней верности, находился вместе с ним. Тропический зной установился с утра, и обезглавленные, вдоль и поперек ошнурованные балыки в окне так убедительно истекали жиром на припеке, что и веревочка казалась лакомством. Векшин был голоден. Нарядная и пышная, как аравийская аврора, дама спешила войти в магазин. С простосердечной деликатностью Векшин потянулся было отворить дверь ей, но та, видно, не поняв его намеренья или же в предположении, что уже одолели этот сброд, нетерпеливо стегнула его перчаткой по руке, взявшейся за скобку. . . кстати, Векшину показалось, что пуговка ударила по нерву в сочлененье пальца гораздо больней, чем та вражеская пуля на фронте. Саньку Бабкина, очевидца его вчерашней славы и нынешних унижений, потрясло растерянное выражение векшинских глаз. . . Тем временем жена нэпмана уже скрылась в магазине.

К ночи Векшин был пьян. На окраине, в гадкой трущобе лил он на свою боль, раскачиваясь и задыхаясь, острый припахивавший падалью напиток, все приговаривая с пьяной слезой – «а я-то за них человеков убивал!». Санька сидел рядом со строгим лицом и в ожидании, когда потребуется хозяину любая помощь. Именно в тот вечер они познакомились с большинством последующих спутников печальнейшей своей поры. Когда наличные иссякли, Санька добыл для хозяина первые легкие деньги. Из ложной гордости перед товарищем Векшин пытался сделать то же самое на другой день. Он попался на этой полудетской проделке, неуклюжей в смысле ремесла, Санька вместе с ним. В тюрьме, углубившей пропасти и обиды, Векшин стал просто Митькой, а Санька приобрел кличку. Кратчайшего тюремного заключения хватило на то, чтобы утратить всякое отличие от своих соседей по нарам, таких профессиональных громщиков, как Ленка Животик и курчавый Донька.

Изобретательным вдохновеньем бывало отмечено большинство векшинских предприятий, – примененное со знаньем дела, оно приносило значительный барыш. Векшин стал корешем шайки, потому что был главным корнем объединенья. Действуя исключительно по линии частной торговли, он еще пытался уверить себя, что партизанит против ненавистного старого мира, тогда как в действительности новая профессия – ее тайны, уловки, опасности – уже наложила отпечаток на все его поведение, и прежде всего успела отучить от труда. Блистая удалством выдумки, Митька оставался неуловимым, так что на него с почтением зависти любовался московский блат, беря пример для подражанья. Грязные деньги нэпа текли сквозь брезгливо расставленные Митькины пальцы, дорогая одежда непременно носила следы небрежности, если не надругательства, а жилье его – снятая на имя парикмахера Королева комната, была аскетически пуста, как звериная клетка.

Даже такие тузы, как Василий Васильевич Панама Толстый, отменный фармазон и мастер поездухи, не гнушавшийся, впрочем, и другими отраслями, или шнифер Федор Щекутин, выезжавший еще в царское время на заграничные гастроли, почтительно прислушивались к суждениям восходящего светила. Ближе Векшин не сходил с ними, хотя и не сторонился их, – к одному лишь Агею Столярову питал он непобедимое отвращенье. Не говоря об его поистине ужасном облике, достаточно отметить лишь, что самые глаза Агеевы или медлительная, всегда на угол рта съезжающая усмешка – имели способность физически ощутимого, оскверняющего прикосновения.

«Значит, не совсем еще погасли в Митьке хорошие, только плохо примененные задатки. Обескровленные, иссыхающие, еще жили в нем воспоминанья о добре и людской ласке, но когда их бередили, Митька заболел, лечя вином неистребимый недуг обиды», – так из всех сил старался Фирсов в повести примирить читателя со своим героем. . . К несчастью, автор угодил к нему минуту спустя после того, как чикилевский окрик словно надвое разорвал Митьку.

Кроме того, Митькины думы омрачались злосчастной и неожиданной для него самого проделкой с сестрою. Встреча с нею внесла смятение в Митькину жизнь, так что он не знал даже, радоваться ли этому внезапному лучу света в потемках его подпольного существования, бежать ли – пока не осознал его ужасную безнадежность. Все дело началось из-за Василия Васильевича Панама Толстого...

Случайно и навеселе столкнувшись носом к носу с Митькой в Нижнем, куда прикатил на недельку порезвиться, Панама предложил познакомить его с образцово-показательной поездкой; Митьку привлекла новизна и забавность развлечения... Но дальше не успел пока проникнуть в тайну и сам Фирсов, вылетающий ныне, подобно пуле, из нетопленной комнаты Дмитрия Векшина.

VIII

Прозвище достаточно определяло Василья Васильевича. Весь круглый и благополучный, он и лицо имел тоже округленное и симпатичное, потому что у обжор, независимо от профессии, благоприобретенная толстота нередко соединяется с ленью, а следовательно, с терпимостью и добродушием. Наружностью своею он пользовался с артистическим совершенством и не без основания хвастался, что и после ограбления оставляет в пострадавших самое благоприятное по себе впечатление, почти на грани дружбы.

Вдвоем с Митькой они сели в утренний поезд, не возбудив никаких подозрений в соседях по купе. Их оказалось всего двое – толстощекий инженер, возвращавшийся налегке из служебной командировки, и миловидная, хотя чуть странная девица с черной повязкой через левый глаз. Ее заграничные, светлой кожи чемоданы лежали на верхней полке и порадовали Василья Васильевича солидным весом, когда он, искусно тужась, пристраивал рядом свою пустую корзину.

Шутливо и многословно извиняясь перед пассажиркой за невольное отравление атмосферы спиртными парами из бутылки, он принялся угощать своего товарища коньяком, причем вел с ним обстоятельные разговоры о сельской кооперации. В конце скромной трапезы Панама любезно, но без подозрительной навязчивости предложил и попутчикам место за откидным столиком. Девица отрицательно улыбнулась, инженер же пробормотал нечто о неловкости позднего приглашения и притворился, будто задремал. К зимнему отоплению вагонов еще не приступали; привыкнув действовать без усыпительного хлоралгидрата, единственно сноровкой и обхождением, Василий Васильевич предложил соседке добротный полотсаый плед, и та старательно закутала в него зябнувшие ноги, еще раз расплатившись бесконечно доверчивой улыбкой.

В сумерки сообща пили чай, а Панама очень мило рассказал, как он, играя с одним мужем в поддавки, обыграл его на серебряный подстаканник и женин поцелуй. Митька слушал плохо, усыпляемый однообразным мельканьем придорожных елей, снега и паровозных искр, беспрепятственно пронесившихся за окном. Вдоволь посмеявшись над незадачливым мужем и приняв предосторожности против воров, все четверо стали располагаться на ночь. А среди глубокой ночи, когда замедлилось биение колес и щекастый фраер без помехи показывал всевозможные оттенки мужского храпа, Василий Васильевич самолично вынес из вагона пассажиркины чемоданы, беря на себя одного всю черновую работу. В стремлении доставить сообщнику полный набор поездушных впечатлений и маленьких радостей от возможных сюрпризов, Панама навязал ему половину добычи, даже с доставкой на дом.

В своей литературской практике Фирсов нередко прибегал к романтическому приему для приукрашения облюбованной им действительности. Так, по его определению, Митька в своей подпольной деятельности занимался исключительно поединками со сталью, другими словами – вспарывал медведей, как зовутся в уголовной среде несгораемые шкафы. Он по праву считался удачником в этом деле, потому что раскрывал их легче, чем взрослый разжимает крепко сжатый детский кулачок, чтоб извлечь из него монетку. Не всегда и у Митьки подобные предприятия заканчивались благополучно до исхода ночи; порою ни простецкий рычаг гусиной лапы, ни верткая мелкозубая балерина не могли пробить доступ к сокровищу... но неизменно всякий раз при этом бывало ему нескончаемо весело, так как требовалось проявить гибкую хитрость в разгадке секрета и вложить громадную волю в кратчайший отрезок борьбы... Нечистоплотная, на его взгляд, и легкомысленная, так как почти не наказуемая сравнительно с ремеслом шнифера или медвежатника отрасль поездной кражи была в новинку Митьке... Усмехаясь от гадливого, пополам со стыдом, любопытства, он осваивал свою долю у себя на квартире; только что из тюрьмы, он справедливо полагал себя во временной безопасности даже от Чикилева.

В чемодане находилось женское белье, платья, несколько цветных трико, занятные женские безделушки и всякие другие мелочи чьей-то заурядной биографии. В нижнем отделении тоже не оказалось ничего примечательного, кроме длинных черных веревок с никелированными блоками и постоянными петлями на концах; шелковое волокно их подло цеплялось, почти липло к огрубелой коже пальцев, пробуждая неприятные мысли о погонях и возмездии. Митька сдвинул ногою в кучу весь этот раскиданный по полу хлам и задумался.

Впервые в его аскетическое уединение врывалось столько вполне бесполезных впечатлений и вещей; печки в комнате не имелось, так что избавление от украденного было значительно сложнее, чем сомнительный труд его приобретения. Митьке и в голову не приходило стащить весь ворох добычи к Артемию Корынцу, барыге и шалманщику, который не гнушался ничем: самая подсказка о скупщике краденого была бы оскорблением для Митьки. В ту дрянную минуту как презирал он цветущую самонадеянность Василья Васильевича, в особенности его сравнение краденого чемодана с пасхальным яичком, куда – и сам не знаешь, какой вложен сюрприз... Только сейчас он заметил плоский бумажный пакетик, выпавший на пол вместе с бельем. В тревожном смущении перед какой-то женской тайной Митька поднял его и оглянулся на дверь. Надежно запертая, с ключом в замке, она все же не успокаивала. Повернувшись спиною к ней, он нерешительной рукою сдернул цветную ленточку с синей бумаги, служившей оберткой. Внутри, кроме десятка ветхих писем, оказалась всего лишь пачка домашних, в размер открытки, фотографий... Митька почувствовал давно незнакомый ему укол совести, словно неосторожно взглянул в глаза своей недавней жертвы. На верхней карточке все та же, доверчиво и крупным планом, улыбалась вчерашняя попугчица из Нижнего, так ловко проведенная ремесленным краснобайством Василья Васильевича. Митька тотчас признал ее, хотя здесь она выглядела помоложе, без повязки, и вполне здоровый глазок ее чуть косил. Дальше шла целая серия снимков, вводивших в профессию незнакомки, позволявших проследить последовательную механику ее рискованного циркового номера. Вот, стройная и красивая в своем трико, артистка по веревочной лестнице взбирается под купол, потом стоит на трапеции, надевая на себя ту самую петлю, которую Митька только что держал в руке, и, как бы приглашая глазами к предстоящему, забавнейшему на свете зрелищу, затем наклоняется, падает, летит вниз головой, с неотлучной веревкой на шее, дразня и одуряя такое же падающее Митькино сознание. Давно заглохшие чувства кружили голову, – позорность его ремесла кое-как еще уравновешивалась редкостью применения, риском и суровостью положенной кары, но похитить у спящей циркачки бедную снасть ее смертельного труда? Ему внезапно жарко стало... Кто-то вкрадчиво стучал в дверь, вышептывая Митькино имя, он не слышал. И как только переложил под низ очередную открытку, холодок растерянности пробежал по нему до кончиков занемевших пальцев. Оскалясь виноватой усмешкой, смотрел он теперь на эту весточку из детства, и никогда еще сущность воровства не раскрывалась перед ним в такой низости.

На последнем, мятом и выцветшем от времени квадратном снимке изображен был крохотный провинциальный дворик с тремя топольками у покосившегося забора; семафор виднелся вдали. Посреди, на дощатом ящике, сидела босоногая девочка в рваной юбчонке – Татьяна, сестра. И рядом стоял он сам, Митя Векшин, снискавший у современников печальную славу медвежатника, а тогда восьмилетний мальчик, улыбающийся и как бы с детским вопросом в лице, на который так никогда и не дается ответа. Он улыбался все эти годы, фотографический мальчик Митя, когда в самом конце царской войны шла на него молчащая баварская пехота, поблескивая при луне сталью опущенных штыков и лаком орластых киверов, или когда, спешась с десятком удальцов, бежал у Джанкоя на белую картечь, или когда стоял в суде друзей своих, постыдной дерзостью ответов маскируя ужас происшедшего падения...

Под воздействием памяти оживали и копошились куры у ног сестренки, а две на заднем плане уже отправлялись на насест. По ветке слева угадывалась яблоня, причем, вспомнилось,

один ее сук, вне пределов снимка, жалостно отвисал на тонком ремешке коры подобно сломанной руке. И вперекидку от этой опознавательной приметки Митька заново ощутил на лице предвестный холодок дикой бури, которая в ночь накануне, переломав на ближней поруби все сосны-семенники, не пощадила любимой яблоньки в огорожке Егора Векшина, сторожа на железнодорожном разъезде и Митькина отца. Как бы сумасшедшие поезда бежали по рельсам, наполняя ночь воем и грохотом, а на рассвете ликовало уцелевшее, изнемогая от соков. Тем утром и уговорил Егора бродячий фотограф снять на память детей. Тогда еще не рождался от мачехи этот... как его звали? Ах, Леонтий! Тогда еще жива была Митькина мать.

Допоздна просидел Митька над выцветшей фотографией, озаренной отблеском невозвратимой поры. Она раскрывалась заново, как книга, не все страницы ее стали одинаково разборчивы. Позже прояснилась еще одна подробность. В то утро за углом бревенчатой векшинской избышки стояла Машка, лошадь. Ничто на снимке не указывало на ее присутствие, но душа нашептывала, что она тут, тут... как вот этот неотцветающий подсолнух на короткой и толстой ноге! Верно, томится и ждет за спиной фотографа, когда вернется из житейских приключений Митя и поведет ее к колодцу после дневной страды. Милая и терпеливая какая, ожидающая двадцать лет!

Давно не спал Митька таким сытным, взволнованным сном. Утренняя пасмурь заглушила вчерашнюю радость: очарованье бумажного квадратика рассеялось. Нечистая озлобленная совесть оборонялась от вчерашнего документа, безжалостного, как улика. Митька кинул его с тряпьем на дно чемодана и самый чемодан суеверно задвинул под кровать. Затем побежали полные искушений дни. Тревожное бездействие свое сам он объяснял растерянностью: разыскивать ли ему объявившуюся сестру, написать ли домой отцу, предаться ли прежней рассеянной беззаботности. Почему-то мнилось, что отец жив, только сгорбился да обильная седина пропорошила морщинистый стариковский затылок.

«Небось по-прежнему выходишь к поездам с зеленым флажком и потухшей трубчонкой в зубах уведомлять о безопасности их бесконечных странствий, твердый человек, Егор Векшин. Небось все пилит тебя мачеха за безденежье, за непроворство честных рук, а ты вспоминаешь ли паренька своего, Митьку, по ее подсказке и вслед за сестрою выброшенного за порог?» – Митька понимал, что письмо получится длинным и мучительным от горечи и запоздалых упреков, а потому не написал туда ни слова.

Сестру он разыскал через неделю, – Митька и догадываться не смел, что знаменитая Гелла Вельтон, одно время по совпаденью выступавшая в тех же городах, куда на ночную гастроль прибывал он сам, и есть незабвенная Татьяна. Из-за профессиональной боязни яркого прожекторного освещения он не решился войти в цирк, а чуть не целый вечер прокараулил у артистического подъезда. Заметала первая в ту зиму поземка, и начинали стынуть ноги в отчищенных до наглого щегольства сапогах. Уличный торговец цветами сиплым голосом расхваливал ему подмороженную прелесть своих хризантем, – Митька взял у него все, чтоб отвязаться, и снова отмеривал взад-вперед два междуфонарных расстоянья. Временами странная сила задерживала его у рисованной, размером в полфасада, афиши с именем сестры. Исподлобья поглядывая на летящую головой вниз и такую одинокую в полете фигурку, он все старался осмыслить, сравнить со своим ремеслом сущность ее грозного и в конце концов тоже бесполезного для человечества подвига. При появлении Тани он рванулся было к ней, но вспомнил про неудобства, какие может причинить ей знакомство с ним, потерялся и перекинул букет за случившийся возле забор. Рядом со своим цветным изображением сестра выглядела трогательно тоненькой и обыкновенной. Митька посмел окликнуть ее лишь в смежном переулке. Она отшатнулась, узнав похитителя, хотела крикнуть, но в ответ на свое паролем прозвучавшее детское имя лишь беспомощно улыбнулась, не пытаясь вырвать своих рук из Митькиных. С настойчивостью мнимого мужского старшинства, словно всего год назад рас-

стались, он закидал сестру вопросами, на которые из-за мимолетности встречи она просто не успела бы ответить.

Первое их свидание было кратко и болезненно для обоих. Словно половинки расколотого векшинского кирпича, они уже не прилегали плотно друг к другу, как в детстве, и все не удавалось им найти верный тон и нужные слова после такой многолетней неизвестности... Заключительные минуты они простояли почти молча, вглядываясь и мучительно признавая друг друга.

– Я вижу, ты богатым стал... – вскользь и мягко заметила сестра, имея в виду его шубу, которая сразу насторожила ее. – Видно, у тебя хорошая должность?

Вопрос застал Митьку врасплох, и сестра догадалась о многом по тому, какой он сразу стал суетливый, услужливый и мелкий.

– Это долго объяснять, потребуется время описать мою нынешнюю должность... – заторопился Митька. – Но верь слову, сестра, я непременно все расскажу тебе при следующей встрече. А с чемоданами... будем считать, что получилась просто непоправимая ошибка!

Он оборвался на полупризнании, пожалел сестру в этот раз, даже взгляд отвел в сторону, и тут ему бросились в глаза по-детски повисшие из обшлагов шубки маленькие Танины руки, совсем уж непригодные для каждодневной игры со смертью. Сердце в Митьке защемило от неожиданной жалости, и, точно прочтя его мысли, она неискусно засмеялась, пряча лицо в горжетке.

– Мне почему-то показалось в первую минуту, что ты торговцем стал, даже испугалась за тебя. Так кто же ты теперь, Митя?

Молчание брата пробудило затихавшие было в ней подозрения. Еще больше шубы не нравились ей вызывающие Митькины бачки на щеках. Первые впечатления были так тягостны, что Таню порадовала даже сохранившаяся у брата способность к смущению. Их сближение подвигалось трудно и медленно.

IX

Она сама потребовала у Митьки продолжения их беседы, и брат согласился не сразу: не было уверенности, отнесется ли сестра достаточно снисходительно к его житейским промахам. Поджидая ее в пивной и глядя на себя со стороны, он сжался при мысли, насколько огрубел в своем новом звании, назначая Таньке, сестренке, да еще после такой разлуки, местом второй встречи пивную на далекой Благуше. Таня не рискнула добираться сюда в одиночку, по улице прохаживался тот самый высокий, статный, молодой, с бесцветным волевым взором и, как с необъяснимой жалостью к сестре сообразил Митька, всего лишь партнер по номеру или цирковой товарищ. Танина провожатого Митька приглашал не очень настойчиво, и тот покинул их на ближайшем перекрестке, впрочем после Митькина обещания невредимой доставить ее домой.

Они пошли вдоль глухой окраинной улицы, прямо по мостовой, сплетя пальцы, стремясь как-нибудь восстановить утраченные связи. Погода не благоприятствовала ночной прогулке: над самыми крышами зима перетаскивала на новоселье свою мокрую рухлядь, дул круговой какой-то ветер, давешний снегопад сменялся изморосью. Разгоряченные дорогими воспоминаниями, брат и сестра сперва не замечали непогоды.

– Тебе не холодно в твоей одежке? – спохватившись, спросил Митька.

– Я закаленная... Но куда же ты меня ведешь?

– Из-за ремонта ко мне нельзя сейчас... Погоди, я покажу тебе одного хорошего человека, – забормотал Митька, увлекая сестру вниз по улице. – Не спросил в прошлый раз, как там, дома-то, все живы?.. что, что ты говоришь?

– Ты все забыл, Митя! Откуда мне знать, ведь я же раньше тебя ушла из семьи... вспомнил теперь?

– Я переписку имел в виду.

– Нет, я не писала туда ни разу, – резко созналась она и выпустила разжавшуюся Митькину руку. – Не писала, да и незачем! Все отболело, прошло, мне больше не нужно.

Самонадеянный холодок ее признания ненадолго остудил в Митьке радость общения с лучшим другом детства. Танину усталость и боль он принял за непростительное равнодушие к родному гнезду. В противоположность сестре и несмотря на внешнее сходство их начальных судеб, Митьке дорог был теперь отчий дом. И чем глубже падал он, тем священной мнилось сердцу это как бы закатным багрецом залитое место, куда в последний, уже нестерпимо черный день, кинув все, можно войти без предупреждения и молча рухнуть кому-то в колени и отдохнуть. Тихая, нетленная точка на земле, откуда впервые увидел мир с его добрым и старым солнцем!

– А про галчонка помнишь? Как ты ему подбитую лапу лечила?

– Совсем выпало из памяти... Когда же это?

– Ну, мы за малиной на Большие Поруби отправились и в канаве его нашли, затаился... – Он осекся, в замешательстве потирая лоб. – Прости, это не с тобой было. Это Маша его вылечила, а не ты...

Так старался он оживить в памяти угасавшие подробности детства со смутной надеждой, что самое обращение к ним поможет ему начать себя заново.

...Беседа их происходила уже возле самой пчховской мастерской, – единственно безопасное место от пристальных, нежелательных глаз.

...Старый слесарь собирался ложиться, когда к нему постучали. Митьку он не вдруг признал в потемках сеней – лишь когда тот стал знакомить его с сестрой. У Тани немножко посветлело на душе при мысли, что хоть кому-то на свете посещение брата может доставить такую

радость. Держа Митьку за плечи, благушинский мастер тряс его и вглядывался из-под тяжких бровей, одаривая отеческой лаской.

– Ничего, хожу пока, Пчхов, не сбылись еще твои пророчества. Кто у тебя там? – Он встревоженно кивнул на соседнюю каморку за китайчатой занавеской, откуда послышалась мужская, сквозь сон, бормотня.

– Племянничка из деревни бог послал, – неохотно пояснил Пчхов. – Нагулялся, спит.

Так они искали друг в друге перемен, находили и великодушно замалчивали их. Пчховский взгляд упрекал, что последние два месяца Митька как бы избегал Пчхова.

Митькина улыбка означала:

«Не сердись, старый, – твой я, твой накрепко!»

Прежде чем уйти за занавеску, под бок к храпевшему племяннику, Пчхов указал гостю на неостывший чайник, на шкафчик с посудой и запасом насущной еды. Угадав Митькину потребность остаться наедине с сестрой, он не навязывался третьим в разговор, и скоро его не стало, – только побурчал спросонья потревоженный племянник.

– Ведь я, когда из дому сбежала, первое время как... ну, знаешь, как собака жила. А может, и похуже! – шепотом начала рассказывать сестра, когда два ровных дыханья из каморки возвестили о глубоком сне хозяев. – Про первый год и рассказывать страшно: шарманщик меня у помойки подобрал, ломаться обучал... видал небось уличных акробатов, которые на ковриках, посреди двора, за пяточки? А мне уже двенадцатый годок шел, поздновато. Вот ты спросил меня в прошлый раз, с чего мне в жизни так весело, все улыбаюсь я... А это я в ту пору улыбаться научилась, нам без этого просто никуда! – Ее глаза сверкнули зло и сильно, а Митька бережно погладил ее руку, в кулачок сжавшуюся на столе. – У шарманщика еще попугай был, клювом счастье на базарах и народных гуляньях вытягивал. Уж старый, непонятливый, плохо соображал, что от него требуют, но птицу бить опасно было, а человека можно... только на мне душу и отводил. Меня много били, Митя!

– Больно было?

– Обидно и больно. Он был плохой человек... не хочу про него рассказывать, противно. Попугай сдох у него однажды, он и напился, да ночью раз... словом, поминки! Ну, стегнула я его по глазам чем пришлось да прямо в окно головой, как в прорубь. – Она недосказала, ощутив быстрый и гневный трепет Митькиной руки. – Две ночи по лесу скиталась, все костер какой-то видела, видно, с голоду. Бреду, спотыкаюсь, и костер чуть справа идет. Не знаю, кто кого вел те две ночи, а только пришли мы к нынешней моей работе. Третью ночь под фургоном спала: бродячий цирк... никогда не видал ты? Там они все вместе жили, люди и звери. Клоуну одному фамилья была Пёгель, но все его звали просто Пугль. Он утром спустился умыться и увидел меня... – Митьке показалось, что Таня чуть заметно кивнула воспоминанью, словно приветствуя свою судьбу; решительно она гордилась своим неприятным детством. – «Как тебя зовут, девочка?» А я смеюсь, голодная, и солнце такое, с морозцем, прямо в глаза мне бьет. «Матрешкой», – отвечаю. «О, у меня тоже Матрешек был, лошадь. Он меня кидал на песок. Видишь, оба колени испорчены...» – и показал себе на кривые ноги. – Таня пощурила потемневшие глаза в освещенный угол конурки, где из-под занавески выглядывали понурые пчховские сапоги. – С этим самым Пуглем я и связалась на всю жизнь. Мы и теперь вместе живем...

– Живешь с ним? – с грубой прямоотой своей среды переспросил брат и опустил глаза от жалости к сестре.

– Нет, ты не понял меня, он совсем старик... давно сошел с арены. Хуже нет для циркача, когда хлопают от жалости. Когда я выросла, то забрала его к себе: он и приготовил меня для цирка. Вначале я по старой памяти репетировала каучук, Пугль уговорил меня пойти на воздух. И вот, помнится, у Джованни, в Уральске, меня как бы опалил первый огонь успеха...

Заново переживая лишения детских лет, она бегло передала и жалостную историю Пугля, наставника в ее ремесле.

Крохотного роста, давно обруселый немец, неизменно вызывавший взрывы зрительского восхищения своею бесконечно сердитой внешностью, он в частной жизни отличался рыцарским, старомодно-обидчивым, потому что исключительной доброты, сердцем. И, кроме того, обладал поистине феерической, будто нарочно для Фирсова придуманной биографией, полной самых экзотических несчастий. Лет тридцать назад он работал вместе со своими малолетними детошками, так как цирковое искусство почитал высшим из человеческих призваний. Со знаменитым номером – «3-Пугль-3», по словам Тани, вызывавшим неизменную сенсацию, Пугль изъездил дремучую царскую провинцию, всюду доводя до исступленного восторга волосатый, казалось бы, ничем не пробиваемый публику; довольно обычный номер в ту пору назывался крутить мельницу на ремнях: повиснув на трапедии вниз головой, артист медленно раскручивал висящих на зубном ремне партнеров. Но Фирсов нашел необыкновенные краски и сравнения при описании, какая сыпучая барабанная дробь, положенная при казнях, сопровождала губительные секунды и как в жужжащем свете прожектора порхали над ареной Пуглевы детки, поблескивая мишурой мотыльковых крылышек. Неизвестно, что там случилось однажды, но только среди номера мотыльки полетели в молчащую под ними бездну... Фирсов перечислял в подробностях обстоятельства цирковой паники, – как всхлипывали женщины на галерке и растерянная униформа стояла вокруг, не смея прикоснуться к упавшим, и как все висел под куполом отец, страшась понять наступившую легкость, и как классический негодяй – директор цирка, дрессировщик лошадей и соперник Пугля по давней любовной истории, сказал ему потом, простегивая хлыстом песок: «Балаганщик, ты потерпел фиаско!»

Маленькие партнеры Пугля не вернулись на арену через положенные шесть недель, как когда-то не вернулась их мать. Потеря эта непоправимо отразилась на мастерстве и положении артиста, – хотя в провинциальном цирке желательно уметь все, быстро одрябшее от запоя тело утратило способность даже к флик-фляку. Дьявольское, черное с красным трико Пугль сменил на просторный клоунский пиджак и великанские баретки, перейдя на роль коверного, то есть состоящего неотлучно при ковре и цепью потешных выходов объединяющего отдельные номера программы. Он не проявил особой даровитости на смешную выдумку, однако природный, без натуги акцент в сочетании с трагической маской неизменно имели поразительный успех у зрителя. Столичные ценители называли Пугля новатором жанра, и, по слухам, где-то по этому поводу была даже написана обширная статья, к сожалению так и не появившаяся в печати. Тут уж сочинитель Фирсов переходил к явно недозволенным приемам повествования, однако, учитывая возможное сопротивление читателя, сам же указывал в одном лирическом отступлении, что после двух сряду ожесточенных войн только посредством особо чувствительных мест или исключительных ситуаций может автор пробиться к сердцу читателя.

В эту пору одиночества судьба и подкинула Таню под фургон Пугля... Терпеливо и вполне беспощадно он обучал ее ремеслу, ведя от простейших акробатических приемов на верхние ступени циркового мастерства. И Таня действительно пошла на воздух, как говорят циркачи, и еще подростком делала штейн-трапедию, кордеволан и воздушный акт на уровне отечественных знаменитостей. В семнадцать лет она со сжавшимся сердцем по-новому увидела с высоты залитый светом цирк, причем всеобщее внимание, восхищение и страхи были устремлены к ней одной. Загремела похрамывающая пожарная музыка, и все исчезло, кроме нее самой и летающей под ней веревки.

На афишу дебюта Пугль подарил ей имя покойной жены, прославленной прыгуньи Геллы Вельтон, и Таня не уронила его, а, напротив, вторично вознесла и прославила под куполами цирков Джованни, Беккера, у самого Труцци, наконец. Со временем ее коронным номером стал штрабат; этот вид циркового упражнения считался устарелым, но Пугль усложнил его головоломными подробностями, а безыскусственная Танина грация спаяла их в сплошное торжество молодого отважного тела. В двадцать три года ее имя, заключенное в рамках черной петли, ставилось на афишу без объяснительных примечаний, зрители попроще принимали ее номер

за привозной из-за границы аттракцион. Ее ловкость возвысилась до смертельной дерзости, придававшей штрабату в ее исполнении жестокое и грозное изящество.

– И не страшно тебе, Танька?

– Да вовсе нет, вот глупый! – Насколько же старше выглядела она сейчас, спокойная и снисходительная к страхам брата. – Ведь у нас все до вершка рассчитано: я и с завязанными глазами сумела бы... А кстати, это могла бы быть удачная находка! – задержалась она на мысли после минутного раздумья. – Нет, не позволят, пожалуй.

– Твой муж тоже по цирку что-нибудь работает? – неумело спросил Митька.

– Нет, у меня никого нет пока, я и не тороплюсь... – дрогнувшим голосом пошутила Таня, и что-то явилось во всем ее облике, заставившее брата пожалеть о нечаянном вопросе.

Лишь бы загладить свою оплошность, он тотчас совершил другую, задав сестре вопрос, вызвавший у ней гримаску досады:

– Я никак не мог объяснить твою черную повязку на глазу, там, в поезде, но зато мне потом так жалко тебя стало, Танька!

– Пустяки, просто у меня несчастье с глазом случилось... – опередила она с ответом. – Одно время это мешало мне работать, но теперь я привыкла... привыкаю, я хотела сказать. Словом, жалеть меня не за что: я люблю мое ремесло, и ко мне все хорошо относятся, так что я счастливая... почти! – снова прибавила она, отменяя этой поправкой все прежде сказанное. – И вообще не очень цирку удивляйся!.. Это публике издали кажется – чудесная и смертельная игра, но чудо это покоится на глыбе адского терпенья и труда. Мы не герои, мы только ужасные труженики... Конечно, бывает и риск, как и во всякой такой работе, без поврежденья не обходится иногда. Поэтому приходится всякий раз стиснуть себя в кулаке, окрылиться для одной необыкновенной минуты... да, как в подвиг, знаешь ли! Вот для этого в цирке и свет слепительный, и сказочная мишура, и самые загадочные имена наши. Слухи идут – скоро запретят нам наши романтические имена. Не верю: люди же, пожалеют! – В ее лице стояли ничем не омрачаемые свет и спокойствие, точно знала, что, несмотря ни на что, в мир она пришла для радости и – пусть! немножко запоздалого счастья. – Вот теперь ты все знаешь про меня, – и лукаво посмеялась. – А ведь ты красивый, Митя... За тобой, верно, девушки бегают, признавайся, а?

Очередь рассказывать была за Митькой, и вдруг он отчаянно смутился под ласковым, понукающим взглядом сестры.

X

Трудясь в меру своего скромного дарования над взрывчатой Митькиной подноготной, Фирсов кое-чего дознался и даже разыскал на карте мельчайшую точку, более похожую на брызг чертежника пера, чем на разъезд сорок четвертой версты от железнодорожного Роговского депо. Вся та область сверху донизу зарисована густой чертежной елью, только окрест векшинской сторожки пропасть накидано веселой кудреватенькой березки. Похоже, водила здесь хороводы на Духов день буйная девичья орава, числом до многих тысяч, но испугались потайного чьего-то шороха, да так и застыли здесь навечно – праздник и тайна!

По той уездной глухомани и блуждал некогда один бродячий фотограф, зарабатывая ночлег и пропитание своим волшебным ремеслом. Имея, кроме того, разрушительные цели против царского самодержавия, расклеивал он по деревьям недозволенные картинки, а также другую преступную подкидную бумагу довольно слепой печати, зато с таким забористым призывом на бунт и бой. Его выдал конный барышник из богатого соседнего села Предотечи. И когда жилистые понятия и бородастые сотские вели мимо векшинского домика связанного государственного преступника, а в нарочной подводе ехала вся его опасная и незамысловатая амуниция, восьмилетний Митя не отходил от ворот, пока шествие не сокрылось за горизонтом ближней поруби... Именно в тот последний день своей свободы, направляясь из Демятина в Предотечу, останавливался фотограф на часок в здешнем березовом разливе. Завлекли его прохладные лиственные своды, сулившие дремоту и награду за мятежные его труды, – плескались над ним ветви, свистали птицы, звенела зеленая тишина. Не он ли, черношляпый, и распугал тех березовых девок?

В самой гуще там, ровно нянька средь молоденьких, уж огорбевшая слегка от своих годов, стояла самая что ни есть расплакучая береза; людские недуги и грусти, плывя по ветру, находили себе ночной приют в ее длинных, падучих ветвях. Под нею сидел черношляпый бродяга, запивая местной родниковой водицей сухую горбушку странника, прохладяясь от пыльных российских верст; под ней сидел, на ней и вырезал ножичком по сочной мякоти коры: «Клокачев Андрей. Долой насилье!» Покушав, ушел, а след остался.

Много раз с тех пор чесал ветер маслянистую по веснам травку, а дождь и смена лет заровняли отпечатки стоптанных гостевых каблуков. И как никогда не удалось старухе залить свою рану чистой белой корой, – так и Митино сердце не смогло отшелушиться от смутных речей, что нашептывал ему бродячий фотограф, накануне своего ареста ночуя с мальчиком на векшинском сеновале. До полуночи раскрывал он Мите, что мир опутан злом и, скованная исполинским произволом, отмирает людская душа... а мальчику чудились во тьме притаившиеся клубки змей и громадные, в размер человечества, оглушительные кандалы. Даже когда очередная буря повалила березу, то до полного ее исчезновения ничто – ни смерть, ни червь, ни смена времен не властны были избавить от клокачевской метины. «А уж молодая поросль с пахучей и девственной листвой подымалась вокруг, и не было им никакого дела ни до старухиной биографии, ни до полузаплывших на трухлявой колоде писем, ни до тайной муки ее обнаженных вывороченных корней. Так и мы, люди...» – лирически заканчивал Фирсов соответственный кусок в жизнеописании Дмитрия Векшина.

Мимо того места дважды в день водила Митю найденная тропочка в демятинскую школу, и всякий раз при виде надписи на стволе он одновременно и слышал ее, повторяемую глуховатым фанатическим голосом. Она глубже шрама легла на душе, так что все эти чудесные перелески с веселой птичурой, и луговинки, полные кротких цветов, летнее небо в бездумных барашках и синюю чашу береговых осок видел он как бы сквозь коричневые рубцы того шрама. Река не смеет противиться ни одному из своих отражений. По той же причине даже шалости возраста бывали отмечены у Мити недетской оглядкой на изнанку жизни. Уже тогда склады-

валось у него путаное ощущение, что мир – не просто игра голубых теней, что свет сплетается с тьмой, которая ему всегдашняя сообщница и соперница, а постоянное детище их – жизнь. Еще более убедился он в этом с годами, но какую жестокой ценой!

На той поверженной березе часто засиживался Митя Векшин со своей любезной подружкой, пока мачеха не приспособила его к делу – зеленым флажком встречать мимоходные поезда. Детям нравилось глазеть отсюда на железную дорогу, проходившую совсем поблизости, тотчас за скатом холма, – и ждать. Сперва зарождался неясный гул вдали, наполняя душу тревожным и сладким ожиданием... иногда вдовабок протяжные окрики грозящих настигнуть паровозов будили в рощах раскаты березового смеха. Потом все пропадало на минутку, и вдруг над курчавым березнячком, точно нанизанные на ветку, вставали клубы сердитого шумного пара, а в просвете, отщелкиваясь на стыках, мелькали вагоны, вагоны, вагоны и сразу растворялись в тишине... Поезда, поезда, человеческой тоской гонимое железо! С грохотом проносились они мимо, в бесплодной попытке достигнуть края земли и мечты. Все отодвигался горизонт, но не уставал и веселый машинист...

Скучающие глаза следили из окон поезда, как вихрем движения трепало Митин флажок и выгорелый ластик беспоясой рубашки. Однажды проезжающая барыня кинула мальчику пятак, употребленный им на покупку давно облюбованной у демятинского лавочника шоколадной бутылочки. Митя съел ее с вопросительным удивлением, в один глоток, прежде чем понял смысл своего предосудительного поступка против подружки и семьи. Митин взнос не умножил бы даже нищенского векшинского достатка, равно как балованную девочку не удивила бы доставшаяся ей полконфетка. Но то была первая такая, детская тайна, – она терзала его всю ночь, жгла внутренности, так что к утру мальчик возненавидел безвестную благодетельницу, разглядевшую его на безымянном разъезде, – прорастало посеянное черношляпым зерно. Да и впоследствии, на беду его, неподатлива бывала Митина совесть на самые, казалось бы, убедительные доводы ума.

Тут пропала старшая Митина сестра, которой больше всего доставалось от мачехи. Дня два подряд покликав ее по лесу, отец прекратил поиски, словно знал: векшинское не пропадет. Вскоре обнаружилось, что и Митя вырос из детских рубах и перелатанных штанов, а нового шить было не на что. Восемнадцатирублевое отцовское жалованье целиком уходило на кашу да щи, такие пустые, что из месяца в месяц отражался в них черный потолок избышки. Случилось, изгрызенный бедами мужик, с горя готовый польстить хоть собственному немазаному колесу, будто мазаное, назвал Митю при отце Дмитрием Егорычем. А накануне приезжал охотиться на векшинский участок пути паровозоремонтный мастер из Рогова. Он милостиво отведать жидкого чайку у Егора и все толковал о божественном, что доставляло его особе добавочные вес и почесть, – хозяева же почтительно внимали вокруг духовным вещаниям старого Федора Доломанова.

Через два дня сидел Егор на лавке, новил растоптанный сапог, а Митя, пообедав, потягивался в углу. Отец воткнул шило в задник сапога и поднял спокойные глаза.

– Никак, опять силушки прибыло, Митрий?

– Вроде прибыло... – пугливо молвил мальчик, не дозевнув до конца.

Видно, какой-то секретный разговор состоялся перед тем у Егора с мачехой. Отец отложил сапог в сторону.

– Нонче же отправишься в Рогово, спросишь мастера Федора Игнатьевича... он тебя пристроить к делу обещался. Пониже ему поклонись... Будешь на работе хорош, сделает и тебя паровозным лекарем. Нечего тебе дома ртом мух ловить! – пошутил он неохотно, поочередно оглаживая обе щеки, которые по старосолдатской привычке брил начисто, давая волю лишь усам. – Ночи пока стоят теплые, переночуешь в Предотече... – прибавил он строго.

Мачеха насовала в коробок все ненужные в хозяйстве обноски, чтоб никто не сказал, будто прогнали сына с пустой сумой да голым. Несмотря на затянувшуюся хворь, сам Егор

проводил Митю до калитки и, пользуясь отсутствием мачехи, вручил ему восемь гривен на первоначальное обзаведенье.

– В жизни ходи твердо, не отступайся, не поддавайся на временное, на совет нечестивых. Помни, малый, не может человек стоять на глиняных ногах. Так что имей крепкие ноги, Митрий! – сказал он на прощанье, единственно в человеческих ногах полагая секрет устойчивого бытия.

Он махнул рукой, и Митя с набухшими глазами вышел за калитку, украдкой оглянувшись в последний раз на садик, дом, кота в окне. Таким и застыло в Митином сознании все это облитое немерцающим закатным багрянцем. Солнце садилось где-то в далеком и ясном пределе, куда прямолинейно стремились рельсы и ежевечерне проливалась ночная тень. Вдруг подсказала обида: к семичасовому вместо него придется выйти самому отцу. Плаксивый Леонтий, любимое дитя мачехи, будет сидеть на больной Егоровой руке и хныкать голосом, похожим на зубную боль. И взглянет старик на черную щебенку полотна, густо вспоенную мазутом, и зашемит маленько в сердце по сыне, а может, и оросит бритую щеку скупая солдатская слеза. «Горько будет тебе в смертный час одиночество твое, Егор Векшин!»

Первую внедомную ночь Митя провел в пути, безостановочном, потому что лес гнал мальчика все вперед и вперед, поминутно пугая звуками; по счастью, небо было безоблачно, ночь не застаивалась в нем. На рассвете, когда задымились росы, погрелся Митя у костра и, кстати, властной рукой повыкидал из короба мачехино тряпье; возросший для труда и неволи, он отрекался от отцовской скорлупы. Нательный крест, надетый еще покойной матерью, он самовольно снял с себя пять лет спустя.

И вот словно не было ни холода, ни страхов, ни обиды. Одевались алыми лучами утра ближние, перед самым Роговом, леса, осененные величественным разбегом небес.

– Вы и теперь с этой Машей встречаетесь? – неожиданно спросила сестра.

– Нет... как-то повода для свиданья не подвертывается! – уклонился брат. – Да и чудная какая-то она стала...

XI

– Но, между прочим, знаешь ли, жизнь ее – это настоящая биография! – вдруг загорелся воспоминаньем Митька, самым прямым образом отвечая на вопрос сестры. – Когда ты пропала, Маша мне заместо тебя была... тяжелая у ней жизнь! Мне представляется порой: жизнь человека меж колен держит, дразнит его сладостью и той же сладостью по голове бьет. Вот у иных, Татьянаушка, жизнь легкая, как песенка. Спел, и все ему благодарны. А ведь иной запоет – хуже занозы в сердце!..

– Это ты про себя?

– И про себя, и про Машу.

В поисках сверстников обегая сплывшиеся записи детства, он видел там одну лишь Машу, чернокудрую Машу, милую Машу Доломанову!.. Она была дочкой как раз того мастера из депо, куда впоследствии определился на работу Митя. Летом в Рогове становилось все одно что в паровозной топке – от гари, копоти, постоянного грохота из ремонтных мастерских. Потому до начала школьных занятий Доломанов отправлял дочку гостить к одной вдовешней свояченице, в Демятино. За отрезы ситчику и пособие к праздникам та, по народному присловью, обшивала-обмывала свою юную гостью, заменяя ей покойную мать.

Сам Доломанов слыл нечестным человеком у всех в Рогове, кроме проживавших при нем запойного неудачника-братца да престарелой домоправительницы – тети Паши: не было богадельни в Российской империи, куда не попросилась бы она по разу на казенный кошт в качестве вдовы городского, злодейски погибшего по пятому году на боевом посту. Подобно многим самостоятельно пробившимся в люди, старик на весь домашний уклад наложил свою властную руку. В доломановской тишине дозволено было шуметь лишь заслуженной, престарелой канарейке да еще с пружинным дребезгом прокашливались стоячие часы; в сумерки они представлялись Маше гробовщиком в длинном и печальном сюртуке. Старик любил после дневной возни с паровозными недугами посидеть за стаканом стынувшего чая под ровное бормотанье нахлебника, читавшего вслух газетку. Братец выбирал заметки исключительно про землетрясения, выдающиеся пожары, крушения поездов и кончины деятелей всемирного значенья. Рабским чутьем угадывал он, что старику именно то и нравилось, что рушатся горы и каменные здания, угасают факелы мысли, падают наземь знаменитые строения, а также наиболее прочные из врагов, вроде зловредного попа Максима, неумеренно вкусившего блинков на масляной, а он, Федор Доломанов, продолжает стоять, вопреки законам бытия, пережил уйму начальников и схоронил трех жен; Маша была от средней.

Девочка с радостью избавления покидала по веснам полный тайных скрипов и запретов отцовский дом. Там, в деревне, она жила почти без всякого присмотра и в ничем не ограниченном раздолье. Только высокий железнодорожный мост через пенистую Кудему соединял Демятино с векшинской стороной, и Маше принадлежала вся демятинская половина мира. Однолетки, дети неминуемо должны были столкнуться однажды в своих бессознательных поисках друг друга. Они встретились на сквозном кудемском мосту в знобящее, тревогой и надеждой напоенное майское утро. Ворот новой васильковой рубахи слегка давил Мите горло, отчего на душе становилось торжественно и жалостно. Ему исполнилось двенадцать в тот день, мачеха запретила носиться где попало и сломя голову, чтоб не порвал обновки, не потерял костромской, с вытканной молитовкой, поясок. Когда Митя поднялся на мост, Маша уже была там, на щелеватом деревянном настиле, в веночке из ранних полевых цветов. Положив подбородок на перила, она задумчиво глядела, как далеко внизу упругой рябью разбивается ветер о голубую гладь воды. По крестьянскому преданью, от распусканья дуба происходит пронзительная стужа тех дней: она вылушивает птенцов из материнских скорлуп, сушит язвы на деревьях,

связывает навечно взаимные сердца. Свистя, пронесился ветер в железном крепленье моста, так что дыханье замирало в груди, и натянутые фермы струнно гудели.

Встав рядом, Митя искоса засматривал, как девочка щурится на ту манящую бездну под ногами, поминутно откидывая щекотную кудряшку со щеки. Красное с лаковым ремешком платьице, словно мокрое, облепляло ее голые колени, а городская обувь на ногах у Маши была зачем-то с накладными бантами... Но все это скрепя сердце еще можно было снести кое-как, хотя некоторое время и мешало Мите заговорить первому.

– Что это у тебя? – спросил он наконец, кивая на серебряное колечко в девочкином ухе.

– А серьги... – надменно покосилась та на босого, но не бежала...

– Зачем?

– Отец велел, чтобы уши привыкали... а тебе что?

– Побежишь лесом, заденешь за сучок... вот и будет тебе привычка!

Маша не возражала, видя в его утверждении известную долю правоты.

– Видишь, елка старая на бугре стоит... – снова приступил Митя, когда по его расчетам знакомство их несколько поокрепло. – Да не туда смотришь! – И помог девочке повернуть голову в нужном направлении.

– Не верти, я сама, – сказала девочка. – Ну и что?

– Ее Федя Перевозский посадил.

– Почему?

– А для денег. Понимаешь, он там перевоз через реку держал, а деньги складал под елку, а бедные, кому нужно, брали.

– Почему?

– Я же объяснял: он святой был... ну, дурачок, словом; все для других. Вон и монастырь его, видишь?

Из-за леска выглядывал расписной, как райская игрушка, о пяти золоченых луковках монастырский собор.

Так, в болтовне, они забыли про десятичасовой поезд, – когда тот с грохотом вынырнул из-за поворота, стало поздно и некуда бежать. Железо моста загнуло в мелкой дрожи: обреченное на неподвижность, оно приветствовало другое железо, жребием которого было движение без усталости и конца. Прижав струсившую девочку к себе, Митя выждал прохода поезда. Случайно их блуждающие взгляды встретились, и эта жуткая, прекрасная минута сблизила их сердца навсегда. И как только опасность миновала, оставляя по себе запах разогретого железа и головокруженье, разговор возобновился уже на основах безграничного доверия.

– Что, страшно было? – спросил Митя тоном, точно хвастался перед девчонкой отшумевшей бурей.

– А то! – с таким же тайным восторгом шепнула Маша.

– Тебе щеотно вниз глядеть?... мне вот тут щеотно! – и коснулся того места на ее груди, где ему щеотно.

– Вроде замирает немножко... – и слегка отодвинулась от его руки.

Некоторое время оба зачарованно глядели сквозь широкие щели настила, как в пропасти под ними вскипает на камнях злая, белая вода. А ветер гудел в пролетах, зарывался в лесные склоны и, вынырнув, задерживал в полете летящую птицу.

– Меня так и затягивает упасть туда. А тебя?

Она призналась с ужасом:

– И меня! – и лишь теперь в полную меру перевела дыхание.

Видимо, все вокруг: железо, воду и высоту – Митя числил в своем хозяйстве.

– Погоди, я тебе еще и не такое покажу, ночью глаз со страху не сомкнешь! – И в обмен на свое покровительство попытался прибрать к рукам девчонку. – Только баретки с себя сыми!

– Зачем?

– Чего трепать попусту... да и ловчей босиком-то, дура!

Она обиженно надула губку.

– Мне папаша не велит босиком. Я не дура... Еще не знаю, кто ты, а я дочка мастера Долломанова!

Первая размолвка была недолгая, – едва сошли с моста, она сама потянула Митю за рукав в знак примиренья. Когда при четвертой встрече она скинула ненавистные ему баретки, он в награду, из почти ледяной воды, добыл ей полураспустившуюся кувшинку. В продолжение лета дети встречались всякий ведренный день, объединив свои пустынные владенья по обоим берегам Кудемы; кроме них, только коршун парил там в высоте да иногда стадо, и то – стороной, пробиралось на полдневную дойку... В их распоряжении имелись самые непролазные чащи на свете, загадочные недосказанные тропинки, заколдованный луг, где томилось взаперти, хоть и без стен, зеленоглазое чудо-эхо, шалаша – каменные пещеры... половины не перечтешь по миновании стольких лет!.. Гибкая и нечувствительная к царапинам шалостей, Маша быстро переняла веселую мальчишескую науку – лазать по деревьям, делать пищалки из лукового вежа, свистать по-разбойничьи посредством ореховой скорлупки, добывать раков в затоне, когда те выбирались погреться на водоросли, ловить кузнечиков и просить у них дегтю. Но самым заветным, кровь цепенящим удовольствием было – незаметно прокрасться по мрачному, ольхой заросшему оврагу к одной полянке с грудями мертвых костей и с криком проскокочить ее во весь мах, прежде чем успеет проживавшая там ведьма Козюбра за голые пятки прихватить ребят.

...Осенью Маша покидала Митю в тоске по вешним дням; зиму заполняло ученье... Едва же задувал заветный майский сквозняк, Митя уже подстерегал на мосту свою подругу, и она два лета сряду не обманула его ожиданий. А время мчалось не медленней воды в Кудеме, – выцвела и порвалась в плечах новая васильковая Митина рубаха. Наступал у обоих тот возраст, когда тоскует и мечется душа в поисках подобной себе. Все чаще незнакомое томленье захватывало их врасплох, и вдруг, по извечному закону, им становилось стыдно самих себя. Тогда нестерпимым бременем ощущала она распускающуюся красу, осложнявшую их прежнюю бесхитростную дружбу, а Митю тяготила перешитая из отцовской, хуже всяких лохмотьев, одежда. В обостренной худобе Митина лица, освещаемой короткой вспышкой зрачков, Маша угадывала опасность для себя. Детские игры приобретали новое значение, одновременно манящее и запретное. Уж меньше времени проводили они в беготне, а чаще просто сидели в ельничке, полуприжавшись друг к другу и односложно переговариваясь. Гроза назревала, и набухшая туча жаждала освободиться от своего сокровища...

Тонкий зной лился в тот вечер с неба, ничтожная ромашка одуряла запахом, как свежая копна. Нечаянный Митин поцелуй сперва напугал Машу, а потом рассмешил. Подобные шалости не поощрялись в Рогове, тем более в патриархальной долломановской семье. Разом встали в памяти неустанные наставления теток: легко утратить девичье достоинство, а там – мазанные дегтем ворота, изгнание из отчего дома, склизкая дорожка на дно... Маша медленно поднялась с травы, одетая в ледок высокомерной насмешки.

– Пойдем отсюда, накрапывает... – сказала она сухо, ловя на ладонь мнимые капли дождя, и у Мити не нашлось ни словца удержать, умолить, разуверить ее.

Оттуда ближе всего в Демятино было через страшные ольховые заросли. Подростки спустились во владения Козюбры и молча двинулись в обратный путь. Ничего там не оказалось, одно лишь конское кладбище в конце, уставленное ржавыми метелками конского же щавеля. Вместо прежнего ребячьего трепета перед тайной в обоих росло незнакомое еще чувство соперничества, что ли, прежде всего – в бесстрашии. Белые смиренные черепа проводили их на прощанье пристальными глазницами... и тотчас же невидимая кукушка в затихшей полдневной листве позади принялась отсчитывать остатние деньки их дружбы... Вскоре Машу вызвали телеграммой в Рогово к занемогшему отцу.

В следующем мае Митя снова пришел на мост и напрасно ждал Машу. Проходивший стороною дождик sprysнул его слегка, но Митя выдержал бы и не такое испытание. А он был в новом картузе и таких же, без износу казалось, яловочных сапогах, почти весь в обновках, кроме штанов, на которые не хватило. Все это, включая главное сокровище в стиснутом кулаке, было куплено на первый заработок в артели, чинившей по осени векшинский участок пути. В душных потемках ладони грустила на серебряной проволочке капля почти настоящей бирюзы: колечко. Подарком своим хотелось ему загладить прошлогоднюю провинность перед Машей, и, кроме того, не покидало томительное, так и не осознанное никогда словами предчувствие, что именно вещь эта сыграет значительную роль в их отношениях... Маша не пришла, это поохладило в нем зарождающуюся нежность. Промокший и оголодавший, он вернулся домой и в следующий раз встретился с девушкой года через полтора-два, в Рогове, где ему посчастливилось поступить обтирщиком в депо на пятнадцать целковых в месяц. После рабочего дня, усталый и чумазый, он возвращался домой из мастерских, когда неуживаемо расцветшая Маша с непременною книжкой для украшения, под кружевным зонтиком выходила на вечернюю прогулку. Только в глухой провинции случается подобная смелость, – надеть по жаре столько шумящих столичных новинок: паровозный мастер Долманов желал, чтобы все видели, какие деньги тратит он на дочь. Маша поразительно легко, даже царственно, несла на себе этот показной груз достатка, пугая своей тревожною красой. И все, кто глядел ей вслед, невольно задумывались о предстоящей ей судьбе. Сквозь мазут и копоть она узнала Митю, чуть ли не окликнула по имени, даже с ущербом для долмановского достоинства шагнула было к нему, но тот отвернулся в сторону. Видно, самолюбие оказалось сильнее привязанности... Кроме того, шедшие сзади товарищи могли бы подумать, что продувная голь, Векшин, наглодавшись на мурцовке, стремится выскочить в долмановские зятя.

Вдобавок открылось накануне, что к Маше сватаются сразу трое, правда, с одинаковым неуспехом – начальник станции Соколовский, табельщик Дужкин и сын демятинского попа, будущий батюшка, вознамерившийся брачными узами завершить династическую распрю. Мите соперничать с ними было непосильно... да он и не задержался в Рогове. После мелкой стычки с Долмановым он перешел в мастерские Муромского узла, но из-за любопытства к жизни и беспокойного нрава не ужился и там, а все подвигался к Уралу. Доходили слухи, будто, проехав на паровозе установленные восемнадцать тысяч верст, он стал помощником машиниста; к этому времени Фирсов приурочивает знакомство своего героя с политическими партиями... И при каждой неминуемой в переездах укладке вещей Мите попадалось на дне сундучка так и не подаренное кольцо со слезинкой бирюзы; какая б ни случалась спешка, он всякий раз подолгу, с посеревшим лицом всматривался в юношеское воспоминанье... да и Маша, злая Маша Долманова, не забывала Митю никогда.

XII

Незадолго перед концом войны Федор Доломанов слег денечка на три в постель. Напугавшая его хворь была легкая, верно, прохватило сквозняком в цеху, и первый в доломановском доме доктор даже выразил удивление перед богатырским организмом паровозного мастера, но сам он понимал, что здоровье его пошатнулось. Близ того времени на одной злосчастной свадьбе старика упросили показать его коронный номер с рублем: взяв монету на кукиш, Доломанов в два приема как бы продавливал ее, сгибая пополам. Однако, как ни хитрил он с нею, ничего не получалось на этот раз, да тут еще невестин братишка, ротозей, хихикнул невзначай на потуги бывшего силача, и будто бы что-то существенное порвалось при этом внутри Доломанова. Вдобавок ко всем тем огорчениям еще одна прибавилась неаккуратность, по любимому присловью старика. Тетя Паша добила наконец желанной койки в богадельне; простившись с племянниками, она вышла с узелочком, но опустила перевести дух на приступку крыльца и умерла. Случай тот столь потряс Доломанова, что некоторое время даже людей на улицах примечать стал.

Как раз в тот месяц невеселых раздумий и прислушиванья ко всякой молве о себе, а пуще – к наступающим в собственном теле изменениям, молодой батюшка ознакомил Доломанова с доставшейся ему от родителя старинной книжкой, сочинением придворного елизаветинского лекаря де Саншеса о пользе, происходящей от применения русской парной бани. В знаменитом славянском обычае сей медик открыл столь могучее средство к врачеванию самых закоренелых недугов, что даже младенцев тотчас по рождении указывал вносить на верхний полук, в самый зной, и там умеренно стегать оных веником для развития как дыхательных путей, так и приведенных в движение конечностей. Эти соображения и надоумили Доломанова, несмотря на военное время, соорудить себе образцовое, по меткому определению Максимова сына, банное капище, к слову – поглотившее чуть не все, за полвека, доломановские сбереженья.

Это роговское чудо света воздвигали начерно, без дымохода, – якобы в черной бане пар вкусней и целебней, – местность под окнами засадили плодоносящей рябиной и строгим можжевельником, каменку же табельщик Дужкин расписал разнообразным, только местами столь игривым сюжетцем, что хозяин не впускал туда дочку, пока дымом не заволокло указанные следы холостяцкого воображенья... Имея в виду через умягчение деспотического отцовского сердца добиться Машиной руки, женихи, все трое имевшие броню от военных действий, добровольно поделили меж собой обязанности по бане. Соколовский принял на себя отопительную часть, требующую высоких дровяных познаний, Дужкин открыл в себе дар придавать пару и воде ароматические оттенки посредством наисекретнейших трав. Что же касается будущего молодого пастыря, этот посвятил свой досуг заготовке веников, избирая для ломки их благоприятный сезон, вскоре от распускания, когда березовый лист, по отзыву знатоков, особенно полезен и душист, хотя бы и в ущерб прочности... Несомненно, в Рогове тех лет, на фоне уже начавшихся народных бедствий, бывали события и поважней, однако, стремясь выделить этим фоном завязку Машиной трагедии, Фирсов громоздил вокруг доломановской бани уйму эпических преувеличений вроде того, что до нее в Рогове по этой части царили совершенный хаос и невежество и якобы бородатые труженики мылись исключительно в корытах, париться же лазали в русские печи, мужественно закрываясь заслонкой снаружи, а кто хилого сложения, вовсе не мылись от лета до лета – до поры, когда потеплеют под солнышком воды Кудемы.

Лишь избранные имели доступ в это не сохранившееся для потомства заведение, и, по Фирсову, нигде на свете не процветало с подобной силой банное искусство... Раздевшись первым, Дужкин окачивал стены ледяной водой, чтоб смыть вредный угар и помягчить жестокость предстоящего блаженства. Затем развешивал вдоль устья каменки веники по числу приглашенных и поддавал в раскаленное пекло начальные ковши. Клубы свистящего пара били

по ним, сморщенная листвень шевелилась, расправляясь и насыщая внешней прелестью божественно обжигающий воздух. Вслед за тем сюда, в зудящий благословенный ад, врвались остальные и, расположась по ступеням здоровья и возраста, предавались любимому занятию. «Распаренный листок, коротко и властно простегивая тело, разгонял сгустевшую кровь, ускорил взаимообращение жизненных соков, вместе с тем удалял прочь накипь земных разочарований, тем самым окрыляя человеческую особь к одухотворенной деятельности», – так и захлебывался Фирсов, выдавая свою природную слабость к сему прискорбному национальному изуверству.

Наверху, в облаке пара, самозабвенно хлестал себя Дужкин, лежа на боку с неузнаваемым лицом. Ступенькой ниже, присев на корточках и просунув веник между ног, не менее ревностно забавлялся Соколовский; длиннота рук позволяла ему и в таком положении достать веником до самого затылка. Рядом с ним нахлестывал себя будущий батюшка, изредка воодушевляя друзей восклицаниями, выражавшими похвалу русской бане, или же подходящим текстом из Писания; и лишь на третьей ступеньке, стремясь не отставать от младшего поколения, изгонял из себя ужас смерти сам Долومانов. Один только пропойца, имея слабое темя, сидел внизу, на соломе и в шапке, покачивая головой на неистовую забаву друзей.

Изредка женихи исчезали повалиться в глубоком снегу, после чего, с гоготанием возвращаясь к будущему тестю, поддавали на каменку мятным либо другим каким кваском. Оттого в пару удваивалось его целительное содержание, в воде же еще глубже раскрывался философский смысл первородящей стихии, а черный потолок бани как бы разверзался для дальнейшего воспарения к небу. Словом, камень бурляк, способный служить в каменке трехлетний срок, здесь снашивался за зиму.

Нарядная, чуть располневшая в тот год, Маша ходила на танцульки роговской молодежи, чтоб весь вечер без движенья просидеть в углу. Никто не смел пригласить ее с собою в танец из опасения разгневать Долومانова или нарваться на особо обидный отказ, потому что шла последняя перед революцией кровопролитная зима, исправные кавалеры находились на фронте и в Рогове оставалась лишь молодежь с различными телесными изъянами, вдвойне очевидными вблизи Машиной прелести. Иногда, соскучась незримо оплакивать свое злое одиночество, она в сквозной кофточке выходила на крыльцо и подолгу стояла лицом в розовую вечернюю мглу, слушая сторожевую перекличку псов. Тотчас за Роговом находилась свежая лесосека на бугре; надсадно скрипели там жердистые семенные ели, отдаваясь беспокойному сну. В Рогове теперь на ночь укладывались рано... только в конце поселка светились окна доломановской бани, где трое женихов-соревнователей зарабатывали благоволение Машина отца. Уже тогда, сама того не сознавая, мысленно звала Маша из лесного мрака страшного своего жениха.

В июле провожали добровольцев. В актовом зале школы, состоявшей под почетным попечительством соседнего помещика Манюкина, украшенном флагами и хвоей, состоялось это неуклюжее и торопливое торжество. Молебен служил новопосвященный батюшка, сын Максима и сам по имени Максим, соратник Долومانова по бане, так и не дождавшийся Машиной руки. По окончании он же произнес напутственное слово о стесненном отечестве и о гражданской жертвенности молодых воинов – во образе дряхлеющего Давида и молодой девицы Ависаги. Речь его вообще изобиловала щекотливыми сравнениями, но никто на это не обратил внимания, потому что поголовно все изнемогали от противной, до липкости расслабляющей истомы. Хотя в раскрытые настежь окна гляделось нежнейших разводов небо, к ночи следовало ждать очередную грозу.

Добровольцы, плотные холостые ребята из торгового сословья, потели в тесных гимнастерках и конфузливо косились на пиво, изобильно представленное на длинных столах для заключительной части. Однако задолго до угощенья их посадили в вагон, и начальник Соколовский, докричав свое «ура», дал сигнал к отбытию. После отправки многие со вздохом обле-

чения воротились в школу, где был устроен бал; в частности, Дужкин лихо наигрывал на кларнете вместе с четырьмя прочими домодельными музыкантами.

Как всегда, Маша скучала в углу, когда ее пригласил на танец незнакомый ей человек. Он был в гладких щеголеватых сапогах, а военного образца штаны на нем пузырились по сторонам, словно надутые воздухом. Машу неприятно поразила широта его плеч, крутизна узловатого лба, угрюмая темень глаз, – точно вышел сражаться в одиночку со всем миром. Все перешептывались о нем, и единственно ради вызова ненавистным роговским приличиям Маша дала согласие; из ревности или смущения Дужкин подзамедлил музыку, так что из польки получился вальс. На третьем туре Маша заметила странные приготовления: публика теснилась к закрытым дверям, оркестр спотыкался и путался, только одна их пара кружилась теперь в опустелом зале, и, значит, именно к ним, волоча веревку за спиной, подбирался Соколовский в сопровождении багажного весовщика.

– Сзади заходят... – шепнула Маша, почитая себя как бы сообщницей своего партнера.

– ...вижу, – одними губами ответил тот и, оттолкнув Машу, выпалил из чего-то в самое лицо начальника Соколовского.

Ей почудилось, что умирает сама; продолжение она узнала от обступавших ее женщин. Отстрелив ухо Соколовскому, незнакомец выпрыгнул в окно; случившаяся там копенка сена смягчила его прыжок, ночь укрыла от преследований. Маша содрогнулась, услышав имя своего кавалера. С нею танцевал Агейка Столяров, гроза двух уездов, ночной разбойник и озорник. Люди такой славы довольно быстро сходят в свои ямы с хлорной известью, но этот прожил дольше других, потому что вначале действовал под маской гонителя богачей, а после революции новички из розыска никак не могли нащупать его нору. Иногда он выползал оттуда, во утоление темной потребности испытать судьбу, – Фирсов высказал догадку, впрочем, что уже в то время Агейка жадно искал предназначенную ему пулю. Никто не знал ни Агейкина месторождения, ни его злосчастливого отца. По Фирсову, его породила загнившая кровь, пролитая на несправедливой войне, и верно – он появился в самом ее конце вместе с прочими спутниками безвременья: смятением душ, волками и сыпняком. Следовательно, ему полагалось сгинуть, как дурному сну при первом дуновении рассветного ветерка.

Наступала переломная пора в русском государстве, безумие пополам с изменой опустошало страну. Тыл и фронт разделились пустыней... и вот по ней при всеобщем безмолвии побежали домой не убитые на войне: облако возмущения неотступно следовало за ними... Как-то в сумерки, когда в воздухе порхали первые несмелые снежинки, приходили к Маше с заднего крыльца два мальчика, дети знакомых рабочих из депо, – под страшным секретом просили красных лоскутков для игры. И хотя обоих Маша считала своими приятелями, один упорно отмалчивался на все ее расспросы, а второй лишь усмехался какому-то секретному знанию, подслушанному у отца. Маша вынесла им давний сарафанчик, в нем когда-то встречалась с Митей. А никаких тайн, собственно, и не было, мир уже шумел о событиях в обеих русских столицах, но газеты в Рогово приходили с запозданием. Лишь по тому, как дети вертели в руках Машин подарок, прикидывая длину и ширину, Маша поняла что-то, и всю ее обдало жаром сожаленья, что сама, в ненависти своей к тому же, не догадалась раньше. Ее захватила еще непонятная, но такая волнительная надежда, разлитая в воздухе и звавшая к суровой и спасительной чистоте из окружавшей ее гиблой слякоти.

– И я! Давайте и я с вами... хотите? – потянулась она, готовая бежать с ребятами в чем была, но те лишь переглянулись в ответ на подозрительное рвение нарядной девицы и ушли.

Часом позже, когда Маша возвращалась с обычной прогулки, вдоль единственной роговской улицы прошли железнодорожные рабочие, давешние подростки в том числе, – утопая в грязи, но по четверо в ряд, хоть всего-то их там было чуть поболее дюжины. Срывающимися голосами старики затаили незнакомую Маше Варшавянку, и тут, если верить Фирсову, она узнала свое перешитое в длинную полосу платье. Ветер рвал его с самодельного древка, и про-

стиранный ситчик струился в воздухе не хуже шемаханского алого шелка... Обида и необъяснимое стеснение помешали Маше присоединиться к ним, никто не заметил в сумерках ее заплаканного лица.

Продрогшая, она с крыльца ворочилась к отцу за новостями и спугнула от окна не по времени веселых женихов. Начальник Соколовский с красивой черной повязкой через висок бросился было придвигать для девушки кресло к топившейся печке.

– Уйди, кобель... кобель недостреляный! – вяло сказала та, вполоборота глядя ему в ноги.

Ей стало одиноко и пусто, зиму она переносила, как изнурительную болезнь. По пришествии весны в воздухе рановато и непонятно запахло как бы лесною гарью, а Маше казалось, что это безвыходный чадный пламень испепеляет ее изнутри. Ее все время тянуло из дому – пройти насквозь окрестные деревни, взглядеться в привычные вещи, которых не замечала раньше. Еще больше хотелось ей в ту пору встретиться с Митей и обсудить назревшие недоумения, но одна только во всем мире милосердная, почти ручная пичуга навещала ее гостеприимный подоконник. Примечательно, однако, что в этот самый месяц Митю Векшина, проездом, что ли, видели в Рогове, причем чуть ли не на задворках доломановских владений; говорили, что он находился тогда на нелегальном положении. Фирсов усердно и вполне безуспешно добивался некоторых подробностей того периода, угадывая здесь спрятанный от него, известный только Маше, всеразъясняющий узелок; впрочем, судя по всему, вряд ли знал о нем даже сам Векшин.

В летнее время Маше не сиделось дома из-за множества чудесных мест в роговских окрестностях, – больше всего нравилось слушать тишину в кудемском сосняке на гигантских оползающих корнях у реки, свесив ноги над пропастью. Но в ту пору стояла ранняя весна, и зыбучие вешние грязи, на которых неизменно бился с подводой какой-нибудь дальний мужик, естественно ограничивали предел ее прогулок. Тем более остается тайной, зачем ее понесло тем роковым холодным вечерком в непролазную глушь, куда, кажется, ни грибник, ни ружейный охотник не забредали от века.

К тому же девушке пришлось провести там не меньше часа во исполнение ее безумной прихоти, иначе трудно допустить такое чрезвычайное, по времени и месту, совпадение. Внезапно на берег к ней вышел Агейка и взял ее. Без крика, напрасного в такой пустыне, она кусала ему лицо и руки, он осилил. Потом Маша тихонько плакала, по-детски растирая слезы кулаком, а куривший рядом Агейка сплевывал в реку и отрывочно делился с жертвой своими житейскими обстоятельствами, – видно, за неимением других собеседников, кроме лесного зверя да вот растерзанной Маши. Только омут оставался гордой девушке, и как раз в заводи внизу услужливо злобилась крутая апрельская вода, так что ничего не стоило Маше соскользнуть в ледяной кипяток... но это всегда оставалось в ее распоряжении, а до того захотелось теперь самой совершить некоторые поступки, чтобы не слишком походила история ее на рядовую мушиную судьбу. Когда Агейка предложил Маше совместную жизнь, она пошла за ним; правда, в то время он не был тем, чем стал впоследствии, еще не растратил до последней трусости своей бешеной и подлой отваги; значит, имелась в его характере какая-то достойная Машинной жалости черточка, сознательно не показанная Фирсовым – чтобы не обелять уж любого злодейства!.. В ночь Машина бегства сгорела доломановская баня: маленький свадебный подарок влюбленного Агейки.

...Теперь все это отодвигается далеко назад. В молчании и с переплетшимися руками сидят брат и сестра. Им очень хочется понять, как же в ясной логической цепи людского поведения внезапно возникают преступление и ошибка.

– Именно целая биография ее жизнь, – настойчиво, все в том же своем толковании повторил Митька полюбившееся ему слово. – И никто не знает, что навсегда связало Машу с Агеем. Плохо ей с ним, а молчит, гордая. Как говорится, сыграла втемную и недобрала очка!

– Он еще жив, этот Агей? – с содроганием спросила Таня.

И, сам бесстрашный человек, Митька с опаской оглядел пчховские стены. Он ответил, только убедаясь, что никто не подслушивает их:

– Видать, сама смерть им брезгает. А где-то на Урале, сказывали, уж песня про него сложена каторжная. Да ведь что, слезами народными эти песни про нашего брата пишутся! – И вдруг просительно сжал слегка обвядшую руку сестры. – Но ты верь мне, богом прошу тебя, уж я-то непременно выкручусь!

Сестра кротко смотрит в посветлевшее пчховское оконце. Лампа тухнет, потому что иссякла ее керосиновая пища; из угла по слоистой табачной духоте плывет густой Николкин храп... Потом, повинувшись своей тоске, Таня с бесконечной жалостью заглядывает брату в лицо.

– А сам ты... убивал, Митя?

С опущенными глазами, движеньем досады гася папиросу в пальцах, Митька отрицательно качнул головой.

ХІІІ

Прежде чем приступить к начертанию первой ключевой фразы в своем сочинении, Фирсов стремительно носился по благушинским людям, уплотняя их судьбы в живые узлы, пока не запульсирует единое сердцебиенье, – прищуренным глазком, по-плотницки, выверяя прямизну задуманного действия. Нисколько не дорожа столь невещественными ценностями, жильцы сорок шестой квартиры почти не таились от него и все, кроме Митьки, охотно доверялись сочинителю, почитая за блажного, чего тот благоразумно и не опровергал. Прежде всего он обратил творческое внимание на Зинку Балуеву, едва разгадал, какие мечтанья волновали ее пышную грудь. Имея дозволение забегать запросто, Фирсов неоднократно заставлял Зинку за вышиваньем мужской рубашки, а малолетняя Зинкина дочка сидела рядом, понятливо созерцая руки матери. И всякий раз Фирсов успевал заметить на рукоделии узор из мельчайших, на пределе порчи зрения, незабудочек. Поэтому сочинитель смог совершенно точно датировать Зинкину победу, обнаружив на своем слегка сконфуженном герое это помрачительное творенье, впрочем уже через сутки бесследно исчезнувшее из его обихода. Для сочинителя вместе с тем это означало Митькину сдачу и, в этом качестве, новую фазу в его судьбе – если не дальнейшего паденья, то несомненной растерянности, столь необходимой перед прозрением. А пока Митьку совсем не привлекали ни богатства Зинкиной души, ни ленивая река ее волос, ни прочие могучие прелести, рассчитанные скорее для эпоса и вечности, нежели для частного, постоянно на ходу, пользования московского вора.

– Как поживают обе милые дамы, большая и маленькая? – вкрадчиво начинал Фирсов и сразу переходил на иносказательную речь, чтобы затруднить понимание ребенка. – Как они развиваются, ваши кроткие цветочки... и уже не появились ли на них лапки с коготками, чтобы прочнее пленить сердце неведомого избранника?

– Вот ты образованный... так ответь мне по всей науке, – шумно вздыхала Зинка, заставляя шевелиться листки фирсовской записной книжки. – Объясни мне, Федор Федорыч, людское сердце может ли лопнуть от любви?

Тот бросал демисезон на спинку стула, многозначительно посмеивался, щелкал портсигаром.

– Вполне, дорогая, потому что миром движет любовь. Горы и тайны лопаются по швам, награждая жадное человеческое вторжение. Звезда рыщет в небе, жажда соединиться с себе подобной и новый породить пламень в пустоте... и ничего, что сердце наше такое маленькое! – И, отшучиваясь, незаметно выкрамсывал наиболее лакомые куски из переживаний собеседницы.

В этой комнате долго трудиться над кладом сочинителю не пришлось: скоро в слезах, как на исповеди, Зинка покаялась его записной книжке в своей безответной любви; ученый брат ее, Матвей, проживавший за ширмой, осуждающе прохотал все полчаса ее признаний. Этот вполне скептический человек, так как специальностью его являлась материальная подоплека человеческого существования, кроме того студент и сотрудник учреждения, коего и сокращенное название занимало целую строку, ходил в косматой бурке, наследии фронта, и во всем, до блеклой переутомленности в лице, являлся полной противоположностью Зинке. Недаром со стен их комнаты переглядывались из угла в угол чудотворец Николай и вождь пролетариата Ленин; первый все грозил, а второй молчал и шурился.

Частенько, в отсутствие хозяйки, сидя с Матвеем на подоконнике и лаская взглядом тихую Зинкину девочку, игравшую со стулом в лошадки, Фирсов закидывал и Матвея каверзными сомнениями об очередных событиях, с возрастающей силой потрясавших страну, причем вроде не объяснением их интересовался, так как сам варился в них, а скорее личностью объяснителя. Матвеевы глаза и щеки лихорадочно возгорались, но как только начинало жечь,

Фирсов под благовидным предлогом исчезал к новоприезжему жильцу из третьей направо по коридору комнаты. Там помещался теперь тишайший из евреев – Минус; вечерами он играл в кино на флейте, а большую часть дня, за отсутствием родни и знакомых, неслышно проводил дома, – одна лишь флейта глухо плакалась о скорбях этого длинного и тощего человека с самым вопросительным лицом на свете. Познакомься с ним по пустякам, Фирсов всякий раз почитал долгом посидеть у него минуточек шесть в полуосвещенном уголку, за комодом. Некоторая любопытнейшая, хотя так и не написанная часть повести была обдумана именно здесь, под меланхолическое бульканье Минусовой флейты.

Стоя с нею у окна, Минус глядел вниз на улицу, беззвучно проползавшую из никуда и в никуда, и близоруко улыбался то ли мыслям своим, то ли пальцам. Фирсов почти не говорил с ним, только слушал с закрытыми глазами, и всегда ему представлялось, будто разумными словами уговаривают бабочку не биться о безнадежно толстое, хотя такое светопроницаемое стекло. Через эти тягучие звуки пытался Фирсов вникнуть в Минуса и загадку его печали.

– Пожалуй, вы и правы, Минус... пожалуй, и правы, что все кругом одно лишь повторенье, именно суетное чередованье радости и боли! – недвижными губами диктовал Фирсов своему карандашу, прогрызавшему бумагу на его колене, – но ведь это только бессмертным виден ржавый станок вечности, равнодушно штампующий детскую песенку, любовное забытье или, скажем, разочарованье гения! Что из того, что из того? Для нас-то оно творится всего по разу, и потому всегда с пленительной новизной. Конечно, мы моложе, мы еще не успели наплакать столько у своей стены, как Иеремия, но все равно, все равно... не люблю этих мертвых каменных книг, объединяющих весь опыт человеческого бытия, потому что память всегда хранит только пепел. Вино мудрости, происходящей от долголетия, вкусом всегда немножко смахивает на уксус... разве не правда? – Приблизительно этими мыслями тормозил Минуса сочинитель, но тот не отвечал, только палец больнее бился о клавишу.

Темы этой с избытком хватило бы до самого открытия кино, но во избежание рискованных поворотов в разговоре сочинитель уже выскакивал в коридор, прихватив с собою плачущего Иеремию мнемоническим способом собственного изобретения.

К Манюкину сочинитель стучался всегда не вовремя, – тот еле успевал сунуть в ящик стола клеенчатую тетрадку, куда за минуту перед тем торопливо вписывал что-то, после чего прятался за постельную занавеску в намерении переждать. Впрочем, осведомленный о тайных манюкинских занятиях, Фирсов обычно давал ему время привести себя и стол в порядок...

– Можно?

Жирной меловой чертой комната была поделена на две половинки, и каждая в полном соответствии выражала характер своего обитателя. Если чикилевская сторона отличалась казарменной чистотой, – газетные подшивки аккуратно хранились на сундуке, а из-под кровати выглядывала старая, довольно скособоленная, но до угрожающего блеска начищенная обувь, и вообще всякий предмет служил на пределе своих возможностей, то в манюкинской также буквально во всем читалась смертельная одышка человека, которому лишь бы добежать как-нибудь до назначенного вскорости конца... Свежепролитые второпях чернила на столе, легчайшая дрожь на занавеске и прежде всего знакомая облезлая шапка на стуле выдавали присутствие хозяина; среди немытой посуды, на подоконнике, торчала головка водочной бутылки. Не имея иного способа словить свою добычу, Фирсов осторожно вытянул бутылку и сделал вид, будто собирается глотнуть из горлышка. Этого даже в нынешнем плачевном состоянии не смогла вынести манюкинская натура.

– Позвольте, ведь там же кружка рядом имеется! – сдавленно произнес Сергей Аммонич, в красных пятнах от смущенья появляясь из укрытия; впрочем, Фирсов успел вернуть бутылку на прежнее место.

– Рад вас приветствовать в полном здравии...

– Мерси, мерси... – как с морозу, потирал руки Манюкин. – Признавайтесь, ведь знали, что подглядываю?

– Разумеется, знал, – усмехался и Фирсов.

– Уйма шутников на земном шаре развелось, все опыты проделывают друг над дружкой. Вот и Чикилев тоже шуточку вчера отколол. Задремал я вроде начерно, а он и принялся помещение мое обмеривать... «Чего вы там, Петр Горбидоныч, вокруг меня елозите?» – спрашиваю. «Да вот, – отвечает мне с колен, – в связи с предполагаемой моей женитьбой прикидываю – где мне купленный мною шкаф кленовой фанеры поставить, а где ширмочку с перламутрой». – «Так ведь я вроде живой пока!» – резонно напоминаю. «Это ничего не значит, – смеется. – Вы вполне обреченный человек. Уж если вы теперь кое в чем, с самого начала, хе-хе, разочарованы, так чего же от вас в будущем, когда все развернется, можно ожидать? Я, говорит, вчера такие ваши мысли во сне подслушал, что...» А действительно, я уж раза два его заставлял: проснусь, а он сидит возле и в бумажку записывает. У меня с детства привычка, знаете, разговаривать во сне.

– Это он границу прочертил, мелом-то?

– Он!.. потому что любит ясность в жизни. И даже запретил переступать ее без дозволения... Ну, садитесь, что с вами поделаешь. А жаль, спугнул я вас. В бутылке-то ведь у меня состав целебный, на ночь поясницу велено натирать.

– Полно, полно нам друг дружку разыгрывать, – вдруг посерьезнел Фирсов. – Да я и ненадолго... Уточнить кое-что собирался насчет вашей просветительской деятельности в роговских краях. Ведь нам же обоим невыгодно, если чего-нибудь навру...

– Собираетесь и меня в сочинение к себе втиснуть?

– И втисну, – беспощадно сказал гость.

– Ошибку сделаете. Какой с меня, батенька, навар! Небось показать собираетесь, как допивает с доньшка жгучий яд своей постыдной жизни Сергей Манюкин, хищник и имперьялист... Так ведь меня бы надлежало с древнейших времен, в полном объеме брать. Нонче все больше из мести пишут, а месть – плохое вдохновенье...

Он собирался в шутивном иносказании преподать сочинителю урок, как надлежит нынешним русским изображать деяния предков – пускай без приязни, однако и без искажения, ибо любое прошлое тем уже одним почтенно, что учит настоящее не повторить его ошибок в будущем. И Манюкин уже приступил было, но неожиданно в дверную щель без стука просунулось продолговатое усатое лицо и повращало глазами.

– Парикмахер Королев, извиняюсь, не тут ли квартирует?

– По коридору вторая дверь наискосок, – так и вздыбился Фирсов в ответ, точно ждал этого визита. – А еще лучше, позвольте-ка... я сам дорогу покажу!

И, пренебрегая только что достигнутым доверием Манюкина, бросился провожать долгового Митькина гостя, тем легче запоминаемого, что при своей продувной, явно блатной наружности был одет в самое что ни есть заграничное пальто. Фирсов предупредительно постучал в заветную дверь, но, даже когда слух его уловил Митькино позволение, помедлил секундочку.

– Ведь я вас знаю, – игриво заикнулся он, точно вчера расстались, точно сам выдумал этого длинного смешного человека. – Вас Санька Велосипед зовут...

– Ну и я тебя маленько знаю... – берясь за скобку двери, дружелюбно отвечал тот, потому что с некоторого времени и ему примелькались эти круглые очки, неказистая борода, самое фирсовское лицо усталого, не балованного успехом мастерового.

– Интересно, и зачем это при ваших нынешних намерениях решительно изменить свою судьбу... зачем вам вновь понадобился парикмахер Королев? – играя своей осведомленностью, справился сочинитель.

– Так, покойничка тут одного постричь надо... – поскалил зубы Санька и, шагнув прямо на Фирсова, вошел в дверь.

Из понятного чувства самосохранения Фирсов не порешился войти вместе с ним к своему неприступному герою, а вынужден был вернуться к гораздо менее интересному, вдобавок обиженному Манюкину, чтобы долго и нудно объясняться с ним насчет неудобств сочинительского ремесла.

XIV

Митька лежал на кровати, бездумно глядя на клочок безнадежного неба в окне. Никто не приходил развлечь его одиночество, а сестра уехала на гастроли в провинцию. Войдя, Санька долго стоял в дверях, но раздеваться не посмел, только кашлянул, чтоб привлечь внимание дружка. Ему не приходилось обижаться на свое прозвище. Он казался анекдотического роста из-за природной худобы и во избежание насмешек выкругивал спину и ноги в коленях, конфузливо улыбаясь сверх того застылой, как бы отникелированной улыбкой; и вообще при виде его чуть вихлявой походки, любимого жеста – каким он раскидывал руки в разговоре, – при звуке его голоса у всех в памяти почему-то возникал старомодный, побывавший в переделках велосипед... Митьке сразу бросились в глаза его щетинистые, еще не слежавшиеся усы – в прошлый раз этого украшения не было.

– Ладно, порадууй, с чем пришел, – сказал Митька. – Какие у тебя там срочные дела?

– Да не стало их, срочных-то. А просто оглянулся я давеча на наше прошлое время... и вспомнилось мне, хозяин, как мы с тобой в атаку в бывалошные годы лётывали. Эскадро-он, марш... – протянул он на томительно высокой ноте. – И так засосало на сердце, что сил нет... ну, и потянуло старого хозяина навестить!

– Это правильно, что хоть оглядку на себя сохранил, – без выражения похвалил Митька. – Только не ори, уши кругом... С чего же оно в тебе засосало?

– Да вот Арташеза нашего утром встренул... – И тотчас, приметив огонек интереса в зрачке хозяина, Санька набрался смелости присесть к нему на койку. – В открытой машине мчит, портфель на коленях желтый, пол-Расеи влезет, и сбоку, заметь, богиня годков двадцати пяти головкою приникла. В большие директора вышел, огромные тыщи в уме содержит... а ведь вместе нас вошь-то фронтовая ела!

Митьке был неприятен этот разговор.

– Где пальто такое, не по чину, раздобыл?.. сосед на именины подарил?

– По случаю, напрокат в одном месте взял... – со вздохом уклонился Санька. – И как встренул я глазами с этим Арташезом, так и похолодал весь: вдруг узнает? И, как назло, ни воды, ни дырки какой поблизости, провалиться некуда... А с другой стороны, на душе скребет, чего ж ты с ним рядом, Велосипед, не котисься?.. ай не вместе воевали?

– Кивнул хоть тебе? – нащурясь и порозовев в виске, поинтересовался Митька.

– Не заметил меня... А дамочка, промежду прочим, очень подходящая такая: шапочка самокраснейшего колеру, бровки-губки как рисованные, и сама вся ласковой хоречка.

– Не завидуй товарищу, – сухо одернул его Митька. – Кто же тебе самому мешает!

– Вот я с тем и пришел к тебе, хозяин... – заметно обрадовался Санька, потому что только ради этого дозволения и завел разговор. – Думаю, ведь это даже у животных имеется... любовь. Амба мне, ведь и я тоже влюбился в женщину!

– Ах, вот ты к чему усы-то отпустил, – посмеялся Митька и впервые с пристальным любопытством окинул взглядом Санькину фигуру. – Где ж ты ее подцепил?

– Срамно сказать, хозяин, на бульваре. Мокро, под ногами дрызготня, осень... иду, обдумываю план текущих действий, держусь в кармане за последнюю пропойную трешницу. И тут замечаю: сидит в сторонке одна в глазастой косыночке, несмотря на погоду, и свежие цветочки на грудке наколоты, чтоб и задорно было, да и для милиции неприступно со стороны. Вроде бы девица нетактичного поведения, одним словом. Подсаживаюсь. «Пардон, говорю, какая это растения у вас, извините за нескромность? Я уж давно интересуюсь такими прелестными бутонами!» А она мне: «Ой, вы шутите. Это всего только простая фиалка!» – «Напротив, отвечаю, я всегда был в жизни очень восхищен фиалкой, хотя по роду службы у нас до цветов как-то руки не доходят, мечтание, однако, и у нас случается. Без мечтания никак не может прожить

ни один человек. А вот, к примеру, – закидываю удочку, – как у вас самех насчет мечтания?» И тут она с тихой дрожью мне отвечает, что мечтание одно у ней – замерзнуть. «А то, смеется, веревки боюсь, – висеть, в аптеке тоже ничего вредного для здоровья без рецепту не отпускают... Так что придется до снегу месячишко-другой с этим делом повременить!» После таких ейных слов начинаю я смекать, хозяин: не иначе как из подшибленного сословия. Видать, со службы сократили по происхождению родителей, вот и надоумилась на улицу за хлебцем сходить, и вышла, по всему видать, не больше как по третьему разу. А надо сознаться, у меня после войны редко наступает красивое переживание, но эта вдруг всю душу мне перевернула. Вижу, пузырь пускает девица: ведь на глубокое место без навыку попасть – враз закрутит, тут и за соломинку хватаются. А может, думаю, соломинка эта я и есть?

По-видимому, Санькин рассказ поразвлек Митьку, и тучки над ним несколько порассеялись; он оживился, потянулся за табаком, закурил.

– Да у тебя просто роман получился, чистейший роман, кот ты этакий, – и головой покачал. – Жалко, сочинителя рядом нет, не слышит...

– А ты потерпи шутить-то, хозяин, – с небывалой еще ноткой отчуждения, если не враждебности пока, оборвал Санька и минуту спустя незаметно приподнялся с Митькиной койки. – Промежду прочим, сколько мы с тобой годочков сообща прожили, а ведь ни разика ты ко мне в середку не заглянул... все подвигами разными занят был! Одним словом, размечтался я насчет жизни. Мое ремесло редкое, сапожно-медицинские колодки делал до войны. Дай мне любую ногу, и я тебе, с места не сходя, повторную копию вырежу. Вошла в меня тоска мгновенная: да-кось я эту барышню подхвачу на лету, мне и такая сгодится! Стану сызнава дерево мое строгать, комод куплю, самовар, птицу певчую на Трубе для веселья, а барышня пускай щи мне варит, бельишко простирнет. Все лучшей ей, чем подлые трешницы в потемках караулить... к тому же долго ли и ревматизм по осенней поре схватить, а то и похуже. Одно страшновато – на генеральскую дочь нарваться: барскими капризами в гроб загонит! Решаюсь произвести тайную разведку... «Папашка-то, намекаю, кабы застал нас на этой скамеечке, непременно ушки бы вам надрал... и, допускаю, даже до крови!» Она молчит, в отдаленье смотрит, носик от измороси поблескивает, взор туманный такой становится и синеватый чуть-чуть. Я опять ее в том же духе испытываю... Внезапно она на это встает, хотя и без особого скандалу... «Чего ж, говорит, мне рабочее время попусту терять, а вам – ухаживать!.. деньги-то есть?» А я смекаю, за живое задело: горденькая, не обломанная пока, хорошо. Обозлился даже: «Ха-ха, гражданочка, отвечаю, уж как-нибудь сголосуемся. Развлечение приносит нам наслаждение. Зовите меня Саня, а вас Маруся небось? Ну пойдем тогда со мной... пойдем, тень загробная!»

– И с лица приглядная, девица-то... ничего себе?

Неизвестно за каким чертом, а Фирсов объяснял в своем произведении, что именно по той же проклятой рассеянности задал Митька свой не очень уместный вопрос, оказавший на Саньку неожиданное по последствиям действие. Верно, хотелось Митьке всего лишь подсократить затянувшееся признание, но Санька ужасно пристально посмотрел на своего бывшего начальника, который потягивался в ту минуту, и тоже – скорее от сыроватой прохлады в комнате, нежели с одинокой мужской скуки: в коммунальных домах отопительный сезон еще не начинался.

– Красивая тоись?... да не сказал бы, хозяин. Красивая-то побогаче себе блюстителя, не чета мне, подобрала бы. Опять же все они, на бульваре побывавши, все одно что часы ковыряные, ход не тот. Нет, не в твоём жандре, хозяин... Однако, если починить да не ронять больше, ходить будут! – поразительно спокойно, но врасстяжку как-то отвечал Санька, после чего отошел к окну и в течение несчитанного времени наблюдал скользящее реянье снежинок. Вдруг он неестественно оживился. – Ой, не забыл едва, я ведь не один к тебе заявился... без ножа зарежут меня теперь ребята!

Не дожидаясь хозяйского дозволения, он выскочил из комнаты и скоро вернулся в сопровождении двух других, ожидавших на лестнице, тоже со дна, как он сам, только совсем на него не похожих. Оба, Ленька Животик и курчавый Донька, угрюмо и не снимая шапок, встали у порога, косясь на сумеречный блеск Митькиных сапог; далеко не друзей в жизни, их сейчас почти роднила неприязнь к Митьке, этому властному и временному на блажном небосклоне светилу.

– Ну!.. – приказал Митька и поднялся на локте, чтоб не лежать в присутствии хоть бы и смиренного врага.

– Жених-то наш еще не передавал тебе? Вот взгреет его уже Агейка... – начал Донька и выждал время, пока это низкое имя доползло до Митькина сознания. – Вчера у Корынца встретились. Спросить велел Агей, пойдешь с ним на дело или нет. «Если, сказал, комиссар откажется руки со мной марать, я тогда Щекутина позову...» – И опять помолчал, играя на дерзости Агейкина приглашения.

Все было задумано единственно для издевки: просто в предсмертной тоске Агейке вздумалось подразнить могущественного соперника. Общеизвестно было, с каким презрением относится Митька к этому злему и всепоганому человеческому отребью. Посланцы потому и опасались шаг сделать от дверей, что сознавали опасность Агейкина поручения, от исполнения которого не посмели отказаться.

– Поздоровайся сперва и шапку сыми, – молвил Митька, полностью теперь поднявшись с койки и заправляя ушко сапога вовнутрь.

– Не в гости пришли, – тряхнул головой Донька, а Ленька подтвердил одобрительным ворчанием.

– Тогда ступайте вон... – приказал Митька, и – фронтовая привычка – правая рука его судорожно вытянулась вдоль тела.

Посланцам оставалось только смириться, но Ленька сделал при этом вид, будто давно собирался почесать в затылке, Донька же надоумился чистить пятнышко на суконном верхе своей барашковой шапки... Неожиданно Митька в знак полного замирения предложил им папиросы. Оба курить отказались и до выяснения обстоятельств принялись едко и в открытую потешаться над молчавшим Санькой и его женьитьбой. Сейчас, все четверо, они стояли друг против друга, разные, затаившиеся на своем. В самой засылке такого гонца, как Ленька Животик, Митька видел особый, унижительный для себя смысл. Кроме положенного по ремеслу негодяйства, он был урод вдобавок; по слухам, старый пахан, первый Ленькин воспитатель, давал ему в детстве ртути, якобы прекращающей рост тела, обрекая тем самым на карьеру форточного скачка. Лишь на заре улыбнулся ему фарт, когда всесветный жиган и кувыркало Фриц поручил ему достать у епископа Амвросия посох, который облюбовал себе под тросточку. После того знаменитого в свое время происшествия над головой Леньки проблеснула несчастная звезда, на тюрьму у него уходило полжизни. С горя Ленька облысел, стал прожорлив, как если бы состоял из одного живота; уже никто не ходил под незадачливого кореша. Едва всплыло легкое Митькино имя, он отправился к нему на поклон, за покровительство в обмен на личный опыт и собачью преданность, но Митька брезгливо отпихнул этого падшего человека, самый вид которого указывал на знаменательную в его положении неразборчивость к одежде и месту ночлега. Как все бесталанные, Ленька ненавидел любого удачника, а наступить ногой на Митьку стало сокровенной его мечтой.

Все противоположные Ленькины качества были отданы курчавому Доньке. Он был тоже природный вор, мать родила его в тюрьме. Но этот был хорош собой, ловок, кудряв и неизменно весел; ему одинаково везло в любви, в ночных предприятиях и дружбе – кроме Митькиной. Он был небрежен ко всему, и женщины именно за это любили его, гуляку, щеголя и примечательного на московском дне поэта. Это его стишки распевала беспризорная шпана,

ютившаяся под столом большого города, и Фирсов из каждой встречи с ним уносил в блокноте хоть строку, чтобы со временем присвоить одному из своих сомнительных героев.

Теперь, пока Ленька скользкими словами поясняет Митьке мнимую Агееву затею, Донька стоит у окна и глядит во мрак. Сквозь стенку сочится скорбная Минусова мелодия, а Доньке представляется, что это чарующая незнакомка в роскошных, распущенных вдоль тела волосах тоскует по нем, по Доньке. Не только музыка, судьба или смерть, но и огромный спящий город одинаково рисовались ему в воображении коварными, непременно нагими, женского обличья существами. «Ведь вот, безглазая, мертвая, обманчивая, – думает он про ночь, облизывая влажные красные губы, – а на какую мысль наводит!»

– Так вот, никакого ответа Агею не будет от меня, – пробивается в Донькино сознание твердый векшинский голос. – Впрочем, торопиться некуда, я ему сам это скажу при личной встрече. Теперь ступайте прочь, спать буду... но ты задержись, Александр: дело есть.

Двое пятятся к двери, исчезают, не простившись. Смеркается, вещи сплываются очертаньями в неопознаваемые комки; сероватое свечение исходит от голых стен. Чуть искоса, с оттенком почти гражданского сожаленья, Митька вглядывается в несуразную, еще более длинную, от сумерек что ли, временами как бы пропадающую фигуру человека, вникнуть в которого так и не удосужился в течение трех с лишком лет совместного скитанья.

– Что ж, Александр, ты и вправду, говорят, на волю от меня решил уходить... завязать, по-нашему.

– Собираюсь, хозяин. Не сочти за бунт, а только шпановать надоело... всю-то жизнь тошно перекаати-подем быть, – заговорил Санька жарко и торопливо, пока не окрикнули, не оборвали. – Тебе меня нечем попрекнуть! Вместе дрались мы с тобой, вместе фундамент закладывали под всеобщее счастье, всего хлебнули вдосталь, а ведь вспомни, возроптал ли я на судьбу свою хоть раз? Ни в чем не попрекаю я тебя, хозяин, хотя до такой уж точки развития докапался, что ежели не в петлю, так и не знаю – куда мне нонче голову свою прикачнуть. Брожу по улицам ровно чумной, от всего меня мутит... Отпустил бы ты меня, хозяин!

Митька молчал долго и недоверчиво.

– И что же вы оба станете делать там без меня? – наконец протянул он.

– Да уж найдем что! Как средств поднакопим, может, еще и в деревню подадимся, пока не решено у нас. – Санька даже языком как-то по-птичьи прищелкнул и, кажется, отвагу для такой неслыханной вольности черпал из чуть растерянного Митькина молчания. – Я тебе сейчас не так красиво обрисую, а попробую. Увидел я раз из поезда, с подножки, самый что ни есть обыкновенный сена стожок... черный такой на вечерней зорьке! Чуть не заболел я с него, даже вроде жар небольшой приключился: с той поры чудится мне запах кошеной травы везде... У меня, вишь, хозяин, на родине сплошь лужаечки, дитю споткнуться не обо что, и речка тихая, опрятная, в ракушечнике течет. Бывало, как ветерочек дохнет о полдень, так все они, листочки, и засеребряются с изнанки. А Ксеньку мою я бы за одно лето молочком отпоил...

Он запнулся от пристального Митькина взгляда и смолк.

– И давно это у вас с нею?

– Месяца полтора, считай...

– И что же, в церкви венчались?

Санька даже зажмурился от стыда и горя.

– Не серчай, хозяин: уж больно Ксеньке хотелось, после бульвара-то... ну, вроде как святой водой нечистое место кропят! Суди как знаешь, а только не смог я ей отказать: ведь не лошади!

Тем временем окончательно смерклося.

– Понятно, – раздумчиво сказал Митька. – Земледелием, значит, решил заняться с бабенкой своей?

– Тоже неизвестно пока... а только обоим нам не житье в городе: знакомства больно много. И еще охота мне Ксеньку подхватить, пока вчистую не спилась, пока под горку не пока- тилась. Тогда уж не удержишь, она как раскотится и тебя самого с ног собьет!

– Может, одно к одному, и коровку заведешь? – насмешливо продолжал допрашивать Митька из своего холодного далека.

– А какая ж радость человеку в домашности без коровки жить? Я в том греха не вижу, хозяин. Не банк ведь, не дом осьмизэтажный... коровка собственность махонькая!

– Махонькая тем и опасней для человека, Александр, что дороже, потому что всегда при руках, – тотчас и с неподкупным видом разоблачил его лисью уловку Митька. – Дивишь ты меня, Александр: совсем ты еще молодой, так откуда же такой старый... закаменелый, хочу сказать. Нет, тошно мне с тобой, после поговорим! А пока уходи-ка прочь от меня...

Но Санька не уходил, в намерении в один прием покончить задуманное дельце.

– Нет, не так отпусти... сыми с меня обруча-то, хозяин! – повторно, униженно и еле слышно попросил он, с ушами, накалившимися до зловещей пунцовости.

Собственно, ушей его было не разглядеть в потемках, но так показалось Митьке. В то же мгновенье зажглись уличные фонари и по потолку прокинулась косая, ровно каторжная, решетка оконного переплета.

– Я и не держу тебя, – жестко улыбнулся Митька. – Да ведь и не завтра же ты в поместье к себе отправляешься... так что будет время, обсудим еще. А усы сбрей, братец, к твоей красоте не идут усы... Ступай же, сказано тебе, спать хочу!

Так и пришлось в тот раз уйти Саньке Велосипеду без мало-мальски толкового ответа на главный запрос души.

XV

Критиков, хором устремившихся на злосчастное фирсовское рукоделье, больше всего раздражали не досадные оплошности стиля или неряшливые, местами, бытовые неточности в обрисовке среды, не вопиющая низменность привлеченного материала или нехватка оптимизма в общем колорите уголовного мира, хотя, по общему признанию, в указанном сочинении наряду с темными пятнами попадались и заведомо светлые лучи, – их раздражала сумбурность сочинительского замысла. Лишь виднейший критик эпохи, да и то мимоходом, объяснил – каким ветром занесло автора повести на Благушу, когда по соседству имелись не только безопасные, но и поощряемые для литераторских прогулок места, посещение которых сулило существенное улучшение тогдашнего фирсовского достатка. Из разгневанных фирсовских ругателей только один похвалил его – да и то иронически – за ценную попытку развенчать современных деятелей разбоя, овеванных вредной романтической дымкой в русских песнях, былинах и церковных преданиях; в особенности ядовито превознес он мастерство автора, с каким тот уже в начальной главе сумел внушить отвращение к своим героям...

Сам выходец с захудалой московской окраины, Фирсов отлично сознавал пробелы своего эстетического воспитания, то есть вкуса, который именовал жироскопическим компасом всякого дарования; тем же недостатком на первых порах грешила и остальная советская литература, призванная прямо из огня гражданской войны осмысливать величайшие события века. Больше всего критических прижиганий претерпел Фирсов за Митьку, в фигуре которого была усмотрена злостная символика, но в раздумьях наедине сам себя корил он лишь за Агейку и ему подобных, гадко заследивших все его произведение. Таким образом, Фирсов источник своих бедствий видел в том, что именно Агей, а не кто иной вышел в ту памятную весну к Маше на Кудеме, хотя в противном случае фирсовская повесть просто не могла бы состояться. Агея автор не мог миновать как живую улику корысти и неустройства старого мира, потрясших его в недавнюю войну. Фирсову казалось даже, что грешно обходить стороной груды живой и битой человечины, завалившей столбовые дороги людского прогресса, а заодно и выход для Маши Долмановой из ее тупичка.

В потребности любой ценой свергнуть деспотизм отца и заодно роговский уклад жизни Маша ступила на скользкий и сомнительный, в отличие от многих ее современниц, путь. Тот же зимний вихрь, что понес над Роговом пепелок долмановской баньки, развеял и сладкий угар Машиной мести; остался лишь болезненный вывих – как в плече от несытного удара – да скверное, на озноб похожее похмелье... Здесь надо оговориться: если Фирсову зачастую и доставало умственной проницательности, сердечной тонкости и порой даже политического чутья, никто не отказал бы ему в знании глубин блатного ремесла и фактов, имевших место в действительности, словом – в таинственной осведомленности, даже способной пробудить любознательность разыскных органов. Весьма подозрительно также выглядело усердие автора, с каким он старался не подпустить читателя к рассмотрению кое-каких щекотливых обстоятельств в интимной жизни главной своей героини, хотя вполне возможно, он их и сам не знал. «Все надеялась Маша, – вдохновенно подвирал Фирсов, – все надеялась пламенем злой безрассудной страсти обратить Агея, эту человеческую гнилушку, в чистейшую золу, годную к какому-то дальнейшему кругообороту в природе. Душа ее разверзалась подобно горе, извергающей целительный источник; в него погружал Агей свои вечно зудевшие неомываемые руки, в нем напрасно силился он остудить наполовину обугленное сердце». Таким непроглядным, а второпях и двусмысленным поэтическим туманцем были как чернилами залиты именно те странички Машиной биографии, где автору приходилось объяснять, почему в свое время Маша сама, скажем, самовольной пулею не прервала этот адский! – как буквально говорилось в повести – адский грех Агеевой близости. В ту пору Машин супруг представлял собою в выс-

шей степени гадкое зрелище нравственного распада, вряд ли поправимого даже таким несовместным применением огня и воды.

Среди многих не оцененных критикой авторских намерений Фирсов задался целью показать на Агеевом примере, до какой границы падения может докатиться удачливый, ненаказуемый преступник. Клиническую картину Агеева разрушения автор заканчивал знаменательными словами: «Сутулясь от возраставшего груза совести и рук, он уползал во мглу звериного одиночества и отвратительных видений, где ему предстояло подышать и куда уж не достигали его ни людские слова, ни облегчительные воспоминанья. Иной раз Маше вовсе не удавалось докричаться или физически достучаться сквозь каменное, все чаще обступавшее его молчание. Разложение шло поразительно быстро; как и всякую падаль, природа торопилась стереть Агея из поля зрения». Кстати, по Фирсову, Маша по врожденной чистоплотности еще раньше оттолкнула Агея, тотчас после переезда в столицу, и якобы только из опасения ножовой расправы она продолжала оставаться с ним под общей кровлей...

Из тех же загадочных побуждений, что и выше, Фирсов врал и здесь, потому что не в характере Маши Долмановой было склоняться перед самой что ни есть смертной угрозой. Следует допустить, что этими наивными приемами, противореча себе в каждой очередной строке, бедный автор из всех сил старался обелить свою сомнительную героиню, навести трагический грим на ее бледное, всегда как бы в грозном освещении предстающее лицо. Для фирсовских читателей осталось сокрытым, не была ли эта рыцарская защита блатной дамы следствием нечаянно вспыхнувшего, скажем условно, влечения, своевременно притоптанного и по всем признакам не завершившегося ничем. Иначе незачем было Фирсову пускаться в такие запальчивые и наивные утверждения, будто, несмотря на – пусть даже самое краткое! – Агеево супружество, Маше Долмановой удалось сохранить в неприкосновенности не только свежесть тела или ясность ума, но и гордое человеческое достоинство и всякие там душевные качества, которые, будто по незнакомству с высшими ценностями, не успел жадными руками захватать Агей.

Между прочим, в целях ограждения себя как от критических наскоков, так и от служебной любознательности надзирающих лиц, Фирсов прибегал к постоянному взмучиванью сюжета, отчего при чтении повествование как бы двоилось и происходила некая рябь в глазах. Прием этот состоял в том, что одновременно с фирсовским вторжением на дно столичной жизни в повести у него на Благоушу приходил другой такой же сочинитель под его же фамилией и с той же самой целью написать повесть из уголовной жизни. Но что в особенности возмущало вышеупомянутых служебных лиц, – в повести у вымышленного фирсовского двойника, в свою очередь, действовал точно такой же сочинитель и так далее, причем все они, сколько их там поместилось, являлись однофамильцами и носили одинаковые по рисунку и покрою демисезоны. Разумеется, это бесконечно усложнило изобразительные задачи начального Фирсова, зато позволяло с зеркальной точностью воспроизводить сложнейшие и запретнейшие обстоятельства, сваливая как ответственность за опасную тему, так и свою собственную литературскую неумелость на эту зыбкую банду возглавленных им сообщников. Так что если бы на основании какой-либо чрезмерно достоверной подробности ретивый розыскной следователь вздумал бы добраться до первоисточника, чтоб привлечь Фирсова не только в качестве свидетеля, но и как Агеева собутыльника, ему пришлось бы без отдышки гнаться вдоль зеркального лабиринта за ускользающим призраком.

Другим примером такого маскировочного приема может служить одна, довольно низменная по своему психологическому колориту сценка, сочинять которую не было Фирсову никакого резона хотя бы потому, что сам он представлял там в неприглядной роли напуганного молчаливика. Наблюдать эту характерную семейную вспышку сочинитель мог лишь летом, у Агея на дому, тогда как известно в точности, что знакомство последнего с Фирсовым состоялось значительно позже, зимою и у Пчхова. Агей укрывался тогда в надежной щели, под ложным

именем, охранявшим его от приблизившегося вплотную возмездия... Словом, теперь-то уж несомненно, что в описываемый вечер автор повести находился у Агея за столом и, видимо, хозяин резал хлеб к предстоящей выпивке, по обязанности занимая разговором сидевшего как на иголках гостя, а заодно и Машу, которая молчала рядом, расставя пальцы с розовым, еще не обсохшим лаком на ногтях. Содержание этой откровеннейшей беседы лучше всего рисует всю обстановку, в которой происходило вызревание Маньки Вьюги из прежней Маши Доломановой.

– Косточки нет во мне, чтобы не была проклята навечно... – как бы в припадке прозрения раскрывался Агей, и Фирсов с незначашим видом помечал что-то в своем блокнотике, а Маша, скосив глаза, не мигая, глядела на оплывавший в граненом стакане свечной огарок. – Ай боитесь оба смотреть на меня? Весь наскрозь черный я стал, запеклось во мне... воду пью, и она полыхает внутри, ровно керосин. Кричал бы, да тоска за глотку держит. Хочу, чтоб везде темно стало, как во мне... – и вдруг попытался спрятать голову в коленях у Маши, столь отпрянувшей, что почти слилась со своей тенью на стене.

– Перестань, Агей, – вздрогнув на прерванной мысли, сказала та. – Постеснялся бы чужого человека. Опишет он тебя, и все скажут, что ты еще до смерти помер.

На всякий случай Фирсов спрятал блокнот в карман, но ожидаемый взрыв не состоялся.

– Вот ты шибко умный, говорят, книжки сочиняешь, – насмешливо, как ни в чем не бывало, заговорил Агей, – а скажи, Фирсов, верно ль, будто кто много других затемнял, тот сам жалче собаки помирает?

Неизвестно, как вывернулся бы Фирсов, если бы Маша не пришла ему на выручку.

– Не трусь, Агей, ты хорошо, смело помрешь, как придет твой час, – как-то протяжно и ленисто отвечала она, привыкнув к Агеевым метаньям.

– А скоро ли он придет, по-твоему, Машенька, час-то мой? – с лаской острой ножа допытывался Агей, бесчувственным пальцем поигрывая с пламенем свечи.

– Потерпи... я так думаю, совсем уж скоро теперь, – со спокойствием скованной бури сказала Маша, и Фирсов в соответственной главе с похвалой отмечал вызывающее бесстрашие ее ответа.

– Небось как светлого праздничка ждешь, бедная ты моя вдовушка, – кротко посмеялся Агей. – Ишь коготки начистила, дружка щекотать... уж подождала бы. Погоди, проведею – для кого, будет ему крупная от меня щекотка! – и вдруг ударил рукоятью ножа по ненавистным розовым ногтям, так что Маша вскрикнула сквозь стиснутые зубы.

Правда, в следующее мгновенье он искательно тянулся к отдернутой Машиной руке, то ли убедиться в несерьезности повреждения, то ли губами просить прощенья. Кстати, как главный Фирсов, так и все остальные его зеркальные подобию испытали на этой странице одинаковый ледяной холодок под лопатками и, якобы из боязни оставить повесть недописанной, остереглись от вмешательства в расправу над женщиной. Фирсов правильно разгадал Агеев выпад как крик из обступавшей его пустоты и не менее точно описал тогдашнее душевное состояние своей героини... Двойственное чувство переполняло в те сроки Машу: и свободы хотелось, и страшило мрачное звание Агеевой вдовы, в каком ей вскоре предстояло вернуться в покинутый ею мир. Вроде и не растрчивала зря своей душевной силы, но все чаще наблюдала, оставаясь с зеркалом наедине, как отвердевают складки вокруг рта и в маску мертвенного спокойствия складывается ее темная властная краса. «Как бы беспрестанная снежная поземка выравнивала сугробистую даль в Машином сердце, новые гребни наметая взамен...» – писал Фирсов, привлеченный вначале всего только жалостью к ее вечному непокою, а московская плутня, подбирая кличку Маньке Доломановой, тоже сумела подметить ее взвихренное состояние. По-видимому, у Фирсова были основания утверждать, что при ее появлении в людных местах воры немедля прекращали любую деятельность, парализованные скрытым и молчаливым восхищеньем. Никто не посмел бы даже шепотом выразить ей свои чувства; лишь курча-

вый Донька вслух, во всю силу своей тайной страсти назвал ее Вьюгою в знаменитом стишке, сложенном на нарах ермаковского ночлежного дома.

Нельзя более медлить с окончательным рассмотрением фирсовского отношения к Агею. Хотя эта человеческая падаля являлась для писателя всего лишь смердящей социальной уликой на судейском столе потомков, в повести сверх того любое авторское суждение об Агее было окрашено явственной личной неприязнью, вопреки тезису самого Фирсова, что бесстрашие – единственный способ для судьи не замараться о преступление. Некоторые фирсовские интонации звучали как тоскливая ярость за прежнюю изгаженную Машу, а кое-что выглядело даже посмертной расправой с соперником. Таким образом, сюжет захлестывал Фирсова, и под конец он сам становился своим собственным персонажем. Одновременно стиль повести приобретал неприятную сбивчивость, а воздух в ней как-то вьюжисто мутнел – потому что ясность произведения прежде всего зависит от того, насколько автор поднялся выше своих героев.

Верно только, что падение Агея в пору фирсовской встречи с ним развивалось почти стремительно. Начальная, обманувшая Машу песенность грозной народной молвы об Агее-мстителе начисто улетучилась после отъезда из Рогова, а в канун заключительной катастрофы Агей почти не показывался на людях. «Черное облако отверженности и грешности с такой густотой одевало его, что дети разбегались при виде его, прохожие торопились уступить дорогу, хотя Агей всегда шел по улице скрывая руки и с косою улыбкой, спрятанной за поднятым воротником пальто, не подымая глаз». Так вот, во избежанье нежелательного впечатленья, будто сводит счеты, Фирсову никак не следовало переносить эту позднейшую характеристику на сравнительно раннего Агея, когда, по отзыву того же Фирсова, «он был еще опрятен и ел самостоятельно».

XVI

В ту пору, когда на удивление всего блатного мира сам Дмитрий Векшин посетил соперника своего, главной клинической приметой близкой Агеевой полочки была всего лишь полусуеверная боязнь дневного света. Сидя у себя в норе, он без отдышки, от еды до еды, и не гонясь за сходством, крутил бумажные цветы и раскладывал про запас по картонным коробам у задней стены. Он копил их, точно собирался увенчать ими однажды кое-кого из почтенных деятелей буржуазной современности, которые с помощью хитрейших экономических, моральных и прочих манипуляций подняли его, рядового крестьянского парня, на вершины цивилизации, изготовив из него столь же выдающегося убийцу. Разум Агея спасительно выключался на время этих занятий: трудились одни руки, костеневшие от усталости и не желавшие умирать... Он не терпел входивших к нему без стука и вздрогнул теперь, даже метнулся к подоконнику за чем-то, едва зародился незнакомый звук не Манькиных шагов, и потом шорох бумажных обрезков на полу сопроводил медленное движение открываемой двери.

– Входи же... – в полный шепот крикнул он с мукой затянувшегося ожидания.

Лицо его выразило высочайшую степень виноватого оживления, когда увидел Митьку. Услужливо стряхивая бумажный сор с табуретки и привычно пряча что-то в рукаве, он усердно приглашал садиться, заискивал в госте, приход которого таил в себе надежду на какую-то спасительную неизвестность.

– А, вона кого бог послал... давненько. Присаживайся рядком, Митя, подмогни! – и раскатился глухим дрожащим смешком.

– Отложи нож-то, порежешься! Я к тебе насчет того дела, с каким ко мне посыльные твои на днях приходили, – сразу объяснился Митька во избежание недоумений и, разочарованно оглядевшись, присел на показанное место, но сидел как-то выпрямленно и настороженно, словно опасался, что на всю жизнь прилипнет к нему какой-нибудь Агеев лоскуток.

– И что же, пойдешь со мной, не погрёбуешь? – недоверчиво покосился Агей, сделав попытку прикоснуться хоть к его рукаву.

– Обсудим, не завтра же отправляться... опять же ты под моим контролем пойдешь, – уклонился от прямого ответа Митька и поднялся, вовремя отдернув свою руку.

Агей сидел, чуть наклонясь вперед, и руки его с видом чугунных провисали меж колен. Нежданно Митьке пришло в голову дикое открытие, что, верно, до солдатчины, пока не пробризнул первый ус над губой, Агей был красив и статен; тогда еще не вился над низким морщинистым лбом этот вскурчавленный, словно подпаленный волос. Как бы отвечая Митькиным мыслям, Агей прочесал голову всюю пятерней и обдернул беспоясую рубаху, отчего стал чуточку еще страшней.

– Митя, – заговорил он, бросая руки на стол, – уж не брезговал бы ты мною! Я и не скрываюсь, что дружбы твоей ищу... не дружбы даже, а хоть изредка подержаться за тебя! Уж больно я нонче... словом, совсем одинешенек стал.

– В деревню ехал бы тогда, чего тебе здесь? – наугад посоветовал Митька и сам себе подивился, с каким жалким нетерпением ждал появления Маши, ради чего и притащился сюда. – Осталась же у тебя родня в деревне!.. отец-то жив еще, сказывали?

– Как же, папаня у меня здоровый, точно в кузне ковали. Мой папаня сам на меня в чеку ходил. «Чего вы за ним рыщете, зря сапоги треплете? – это он им про меня говорит, про дитя родное. – Лучше выдайте мне машинку на руки, шпалер по-нашему: он, говорит, ко мне скорей наведается, чем к вам». Отец на сына, каково, а? Какая там, к черту, родня. У меня, Митя, родня только сапоги, остальные – все хорошие знакомые! Меня сапог не осудит, оба мы с ним черные: хвастаться ему передо мной нечем! Да еще вот ты меня не осудишь... потому что знаешь, что меня нечего судить, а сжечь надо и пепел из пушки в небо пальнуть! – Вдруг

он заглянул в лицо гостю. – Может, сразу Маньку тебе позвать... ай потерпишь – со мною? – И Митька нашел в себе силу ответить спокойным тоном, что никуда не торопится. – Но если очень тебе желательно, то суди меня, Митя, с удовольствием послушаю. Я к тому, что Манька больно хвалит тебя... честней и чище не бывало мальчоночки на свете, а к нам будто не от разгула, а единственно по скверному ндраву попал. К слову, напрямки, если не секрет... верно это, будто ты так ни разику и не пожил с нею?.. ну, когда на Кудеме-то прятались? – Агей лгал из ревнивой и неусыпной ненависти: жена ни словом не обмолвилась ему про совместное с Митькой детство, однако кое-что Агею удалось самому разведать стороной.

– Мне не к чему судить тебя, Агей, – терпеливо сказал Митька, пропустив главное. – К несчастью, я и сам недалеко от тебя ушел...

– Понятно, не судите, да не судимы будете, хе-хе... – и снова кашляющий Агеев смешок расползся по комнате. – Круговая порука, значит! Не судите, потому что у самих рыльце в пушку. Совестьливые всегда бывали хитрее грешных... Ан, врешь, – суди меня, а я посмотрю, с какой такой точки ты меня судишь! – Подавшись вперед, Агей вскользь хлестнул ладонью по столу, так что огарок свалился и продолжал пылать в прозрачной лужице стеарина. – Я тут частенько шумлю, жжет меня, не обращай внимания, Митя. Ты промеж нас совсем как гражданский герой, только второго сорта... и ты собою вроде протестуешь, а мы-то, грешные, давно кормимся нашим делом. Глядишь, тебе еще простят, как своему, и ты по-над нами на казеинном коне гарцевать будешь, а я... – Он понизил голос до шепота. – Я уже знаю, в которое мне место пуля войдет... Нет, мне бы только лестно было, кабы ты меня маненько посудил: даже интересно на себя в зеркало с золоченой рамой полюбоваться. И я не шучу, должен кто-нибудь и во мне разобраться: изучают же нечисть всякую, пускай руками и не прикасаются...

Тогда-то Митька и помянул мимоходом, как неделю назад прогнал от себя одного бесстыжего сочинителя в клетчатом демисезоне. Агей воспринял сообщение с почтительным любопытством... Вскоре Митьке душно и тесно стало от Агеева присутствия. Он подошел к окну и отдернул в сторону чуть наискось и гвоздями прибитое одеяло. Ворвались свет и тревога: на улице оказалась не ночь, лишь вечер пока. Теперь запущенная неряшливость комнаты еще сильнее выдавала душевное состояние ее жильца. Окно выходило на запад, – обычно грязноватый городской снег чудесно и оранжево поблескивал на крышах. Где-то в нежнейшем отдалении, под чугунной плитой неба догорала ленточка зари, такая ласковая и тоненькая, словно из девчонкиной косы.

За спиной вполголоса откровенничал Агей, а Митька кивал, не имея нужды или охоты вникать в признанья, содержание которых к тому же целиком надо оставить на совести сообщившего их Фирсова. Митька глядел в окно и думал: вот сразу, немедля, выйти бы в эту лиловеющую загородную тишину, выбрать проселок попустынной и, доверясь ему, брести неделю без мыслей и желаний, без ничего, кроме решимости к забвенью, – и не останавливаться нигде, а только все идти: сквозь море, если встренется, через снежные хребты, вон в ту золотистую щелку зари – без желанья узнать, к чему все это... Ему почудилось даже, что грудь его наполнилась крупитчатой свежестью морозного воздуха, а ноги налились ноющей сладостью от долгой ходьбы.

– ...И ведь сколько разов я тебя добивался, чтоб свидеться, а ни на одну записочку ты мне не ответил, – достиг наконец Митькина слуха укорительный Агеев голос. – А я тебе напрямки скажу, зачем ты сегодня пришел ко мне...

– Ладно, ладно, не хитри, – раздраженно прервал Митька, лишь бы избавиться от этой навязчивой близости. – Я давеча по глазам твоим увидел, что сразу разгадал. Да, я согласился прийти к тебе потому, что Машу захотелось повидать... хватит с тебя?

Митька произнес это, все еще стоя спиной к Агею. Вдруг он обернулся скорей на тишину, чем даже шелест чьего-то другого, кроме Агеева, присутствия. Еще раньше по внезапному замиранию сердца Митька понял, что вошла Вьюга.

XVII

Они не виделись с осени, после случайной встречи в цирке, где им обоим выгодней было не узнавать друг друга. Манька Вьюга была в неизменном для всех случаев жизни чуть старомодном, но словно впервые надетом черного шелка платье, тесном и без ворота, как для эшафота. Стоя на пороге, чуть привалясь виском к притолоке двери, Вьюга курила папироску. Ни лоскута пестрого не было на ней, но такая незнакомая покорительная новизна появилась в ее облике за истекшую треть года, что Митька ослепленно опустил глаза.

– Здравствуй, мой родной... – сказала она просто и приветливо, но пошла к нему не прямо, а почему-то в обход стола и с Агеевой стороны. – Я случайно слышала там, как ты сейчас пытался обмануть Агея, и решила заступиться за него. Ты затем напрямки ему и признался, что ради меня пришел, чтоб он тебе не поверил... а ведь и в самом деле ты ради одной меня притащился. Гляди-ка, нехорошо как получилось: он души в тебе не чаёт, а ты... – Может быть, желая вознаградить Агея, она сзади кончиком пальцев коснулась его лица, и тот быстро прижал щеку к плечу, стараясь защемить ее руку, но опоздал, а Митька понял, зачем и чего стоила ей эта показная ласка. – Что, дурачок, все со своими цветочками возишься? Выбрал бы покрасивше какая, покрасней да подарил бы гостю розочку на память. Ай плохо гостится тебе у нас, Митя?.. уж и полюбоваться на себя не даешь, никак уходить собрался? Посиди, погости у нас.

Только теперь Вьюга протянула ему руку, и Митька суеверно удивился, как гибка, горяча, беспомощна сейчас оказалась ее рука.

– Я, собственно, мимоходом забежал, о дельце одном условиться, – уклонился от ее прямого взгляда Митька. – Времени у меня в обрез...

– Чего ж ты так волнуешься, чудак! – сдержанно улыбнулась та. – Я ж тебя не на колени к Агею садиться приглашаю... И железа на лицо себе не напускай, сам когда-нибудь увидишь, что я вдвое тебя железнее.

Впервые вступая в разговор после долгой разлуки, они с трудом привыкали к личинам, надетым на них жизнью. Была какая-то головоломная гонка в их падении, кто кого опередит, и все это время оба не теряли из виду друг друга. Не досказав чего хотела, Вьюга отошла к окну и, стоя спиной к мужчинам, рассеянно играла золотым подвеском браслетки. Плечом перекинувшись через стол, Агей потискал протянувшуюся за папиросами векшинскую руку.

«Смотри, какую проворонил... хороша, лакомая?» – мигнул он Митьке с тусклым ножовым блеском во взоре, направленном Вьюге куда-то между лопаток.

А уж почти смерклось, и, пока гаснула девчоночкина лента за окном, Манька Вьюга и гость ее мысленно торопились расспросить друг друга о непоправимых в их жизни переменах, третий же и лишний здесь озабоченно переводил глаза с одного на другую в поисках лазейки – проникнуть в их неслышную беседу. Потом этажом выше стали вбивать бесконечно длинный гвоздь, и, кстати, зорька успела развалиться бурым пепелком по горизонту, – Вьюга отвернулась от окна.

– Гордый стал, никогда старую подружку не навестишь, Митя. Я давненько это свойство за тобой примечала: сам же назначишь свиданье, да еще в глуши где-нибудь, да и не придешь... плохой ты, Митя! – Она сделала длинную паузу на проверку и, подойдя, даже осмелилась приподнять похудавшее его лицо за подбородок – при Агее, который зачарованно взирал на непонятную ему игру, но Митька ничем не выдал своих мыслей. – И угрюмый сделался какой!.. а ты приходил бы ко мне почаще, как друг детства. Я тебя и развлеку малость от твоих огорчений, и винцом угощу... как пойдешь мимо, так и подымись. Ну, взгляни ж на свою Машу! – добивалась она чего-то от Векшина, который продолжал глядеть чуть вниз и в сторону, на дымок своей папироски. – И я хороша, пятно где-то на новое платье посадила, беда какая... да

на самом видном месте, на рукаве. Это ты, Агей, твоего пальца след! – И сцарапывала почти несуществующее пятнышко с видом, словно не бывало у ней иной печали. – Ты, верно, стыдишься меня, Митя, прячешься, а зря... я все равно о каждом твоём шаге знаю. Только вздохнешь, а я уж знаю, у меня на каждом углу покупные очи стоят. Заходи и Змея Горыныча моего не бойся... ведь он тоже стоглазый, знает, что у него ни перышка не украдёшь! – И долгим взглядом посмотрела на Агея, бурным восторгом встретившего её сообщение. – Слух про тебя дошел, будто ты сестренку свою отыскал? Непременно покажи: если ты мне как брат, значит, и она не чужая... Ты пошел бы теперь на кухню, Агей, самовар поставил бы, голубчик. Гость чайку хочет, да вишь, намекнуть стесняется... слышишь, кому сказано?

Кроме глухого ворчания, муж ничем не выразил своего недовольства, и пока уходил, дважды по пустякам возвращаясь с порога, Вьюга по-женски неумело чиркала спичкой о коробок.

– Вот зажглась наконец... – сказала она, усаживаясь напротив, едва закрылась дверь. – Курить хочешь?

– У меня свои... не люблю с духами, – грубо ответил Векшин, раздражаясь властью этой женщины над собой.

– А ведь ты, я вижу, чуточку меня побаиваешься, Митя... правда? Не отодвигайся, чудак, я же тебя не трогаю... – Ее смуглое лицо, в завитках как бы разметанных ветром волос, оставалось невозмутимо спокойным, только подкрашенные губы слегка подергивались. Она понизила голос: – Впрочем, мне понятны твои страхи: если бы что завелось меж нами, по старой памяти, знаешь ли ты, как поступил бы Агей с нами обоими, с тобой в особенности! Ладно, не бледней... заступлюсь, отмолю! У меня словцо есть на него заветное...

Не закончив мысли, Вьюга легко переметнулась через комнату и быстро рванула дверь на себя. Ссутулясь, Агей стоял за самой дверью, Векшину показалось – с руками чуть не до полу, с головой чуть набочок и в подшитых валенках, а с лица его еще не сползла тяжкая озабоченность незнания.

– Ну, чего, чего вы тут затихли, ровно воруете! – заухмылялся он подло и виновато. – Чего вы у меня воруете?

Вьюга бесстрашно шагнула к нему навстречу.

– Ай-ай, нехорошо-то как, Агей... Кому я раз навсегда запретила подслушивать? Марш на кухню!

Она повернула его, послушного, лицом в обратную сторону и, подтолкнув ладонью в плечо, лишь полуприкрыла дверь на этот раз...

– Слушай, Маша, – только теперь овладев собою, заговорил Митька, – тебе известно, что я не шибко пугливый, но мне и в самом деле неохота драться с Агеем... да и не велика радость рога ему наставлять. Постарайся привыкнуть к мысли, что я не боюсь ни чар твоих, ни его ножа, ничьей мести! – и даже применил точное блатное словцо, чтобы обозначить степень своего пренебреженья к любым страхам и запретам на свете. – Ты постоянно делаешь ту же ошибку в расчетах: уж как-нибудь постараюсь пережить нашу разлуку... и вообще не путай человека и его временную оболочку! – По фирсовскому замыслу, в соответственном месте повести Митька хотел сказать, что даже петля на его шее всего лишь обстоятельство судьбы, а не личная характеристика.

Вьюга слушала его, кружевным платочком рассеянно вытирая с ладони, – может быть, прикосновение к Агею. Во всем ее поведении Митьке чудился заведомый план, но сосредоточиться, проникнуть в него мешали то раздражающие шорохи ее платья, то отвлекающий вниманье запах ее духов.

– Не боишься, покамест сильный... – бегло и без выраженья заговорила Вьюга, – но однажды задувает незнакомый ледяной ветерочек, сгибает и вяжет гордецов в узелок. Вот как качнешь гнуться, так и прибежишь ко мне, а я уж наготове буду в дверях стоять. И не жди тогда от меня пощады... еще покойный отец примечал, что характер у меня дурной, сварли-

вый. Прямо говорю: я из тебя хуже тех сделаю, кого ты презираешь сейчас... безвинной тебя кровью обагрю. Мне и слез твоих мало, а ведь ты не плакал пока. Думаешь, уж убил свою любовь? Глупый, только изувечил! Отец на глухарей ходил, на глухаря – на любовную песню охота. Его бьют, когда он изнывает от любви, караулят из шалашика. Приспееет время, и я тебя на песне возьму: а потом на помойку выкину... авось человек в тебе родится!

– Рассудок, значит, от тебя потеряю? – сквозь зубы пошутил Митька.

– Зачем же, и терять его не придется... а просто вспомнишь однажды, как ландыши мы с тобой рвали на белянинской опушке. Еще радуга стояла на лугу, совсем близкая, хоть подкрадись и отлочи на память... да так и не успели мы с тобой, распалась. Ты хороший, милый был, и все мне поцеловать тебя хотелось... разве уж отдать тебе должок? – Она приблизила было лицо к нему, не ожидавшему нападения, но в решающее мгновение, шурко заглянув в глаза, лишь головой покачала и оттолкнула. – Нет, не хочется мне вора обнимать... Неужто вправду говорят, будто ты собственную сестру обокрал? Такого сдуру прижмешь к сердцу-то, а он тебе карманы и обчистит. Не хочу, – с правдоподобной зевотой заключила она.

– Бешеная, таких в погреб на цепь запирают... – с дрожью в голосе заговорил Митька, волнуясь, как при разглядывании старенькой фотографии из чемодана сестры. – Что тебя злит, что гнетет тебя, откройся?! Если и обидел чем, так ведь мало ли чего в жизни не случается: живые... не ровен час, и толкнешь локтем. Ведь я же не сержусь на тебя, что, от бешенства своего кинувшись в эту ямину, ты и мою часть, что я имел в тебе, запоганила... но я простил тебя, почти простил. Объясни наконец, чем же я тебя обидел, Маша?

– Уж будто не знаешь чем? – лукаво прикрыв платочком странно заблестевшие глаза, улыбалась Вьюга.

– Если тогда в Рогове не подошел, как ты позвала меня, так ведь ты же вся в кружевах да в шелке была, а я хуже черта, в мазуте с головы до пят. Зазорно черту рядом с ангелом гулять... все еще не смекаешь? Так скажи – чем?

– Ведь вот ты какой, Митя, хуже смерти человеку причинишь, а и не заметишь. Ступил ему на сердце и прошел дальше по текущим делам...

Митька молчал, бессильный разгадать пугающую, потому что среди улыбки, слезинку в углу Манькина глаза.

– Все равно, на, возьми себе колечко в знак того, что я не сержусь на тебя!

Он протянул ей из бумажки ту, давнюю, с поддельной бирюзой вещицу, – и еще не отдал, как та сама отняла его.

– Ой, колечко, да милое какое!.. откуда оно у тебя, не ворованное?

– Я его на самые первые свои, на чистые деньги купил, – с непобедимой мальчишеской гордостью сказал Митька. – Когда еще у отца жил...

– Это хорошо, что на деньги купленное, – кивнула Вьюга. – А то еще опознают где-нибудь да засадят за тебя твою подружку в казенный домик о сорока решетчатых окошечках.

– Ты не приехала тогда и не пришла на мост в тот последний раз, а я все ходил взад-вперед, в кулаке его тискал. И дождик шел...

– Бедный, до костей поди промок? – пожалела его Вьюга.

– Не в том дело, что промок, а что обмирал по тебе до самого вечера...

С пристальным и необъяснимым любопытством, на минутку охудевшая, некрасивая даже, Вьюга любовалась на подарок, протирала рукавом, подышав, и опять разглядывала.

– Еще бы!.. жалко ведь, если такая вещь без дела завалается. Ой, спасибо, как она мне теперь пригодится впереди... Дорогая поди?

– Два рубля плочено.

– Только и всего?.. так, значит, поддельный он, камешек твой? Такой еще голубой, а смотри-ка, уж фальшивый! Дешево же ты, Митя, милость мою хочешь купить... – Она вся

вытянулась, как на предельном звуке струна, а Митька тревожно покосился в лицо ей, где, почудилось ему, сверкнули молнии. – Вон Донька-то...

– Чего ж осеклась, продолжай!

– Донька, говорю, карточку мою старую, по карманам затасканную, у одного там... страшно даже сказать, на что выменял.

– Не на душу же!.. а два целковых цена вполне приличная, Маша. – И тоже как бы железный дребезг прозвучал в его голосе. – Пятерку сапоги хромовые стоили. А мне всего пятнадцать годков было... много ль со шкета спросишь!

– Все одно мало, Митя, – настойчиво повторила она. – Я к тому так, что дорогая я, нищим не по карману. За меня все тебе отдать придется, и еще, что на доньшке души хранишь, сама возьму в придачу. Хоть на Агея оглянись... Может, мы с тобой крылышко в крылышко здесь сидим, милуемся, а ему приходится тряпочкой золу с самовара обтирать. Он и Доньку-то терпеть не может, а ведь ты ему разка в три опаснее, никак не меньше. Опять же у тебя-то еще все впереди – и тюрьма и, бог даст, – петля, а мой уж последнее догуливает и наперед все знает. Как за стенкой в соседней квартире, а стенки тонкие у нас, дети со стола что-нибудь либо табуретку уронят, посмотрел бы, что с ним делается. А тоже крутой был, вроде тебя... хотя ты погордей, пожалуй!.. нет, не на то я сердчаю, Митя, что в Рогове ко мне не подошел... я же понимаю, с барышней пройтись перед товарищами неловко, как будущему борцу за человечество. Вот монахи тоже всего красивого страсть как стесняются, чувств сердечных, слабостей души своей. Знаю я таких, неподкупных, в рубаху промусоленную одеться нороят, с сальным ремешком, зато уж наедине-то как останутся... Самые длинные и злые ханжи из них выходят, бичи на спину рода человеческого!

– Я не повинен в твоих несчастьях, Маша, – как в клятве, еще не сдаваясь, но ужасаясь чего-то впереди, сказал Векшин.

– Да разве я потревожила тебя хоть словечком осуждения или намекала, в чем мои несчастья, а твоя вина состоят?.. Вот и отрекаешься, а ведь врешь, Митя, наверно, все до капельки сознаешь. И не прикидывайся, что все тебе нипочем... иначе не стоял бы тут руки по швам передо мной, не терпел бы. Теперь наперед предскажу: лишь бы доказать мне, что не для меня пришел ты в наш горький дом, ты сейчас дашь согласие пойти с Агеем на вполне погиблое дело. И большую беду из-за этого примешь. Бедный же ты у меня: и без того щипанный да еще в любви запутался, а уж срок тебе подступает, Митя, по всем векселькам платить... – В ее голосе хрустнуло что-то звуком стекла под ногой. – Нет, мне неинтересно нынче твое колечко, Митя... своих хоть завались!

– Это не ты, это горе в тебе кричит! – пугаясь ее внезапной решимости, перебил Векшин.

– Нет, это я говорю, Марья Столярова, по кличке Вьюга, жена Агеева. И я тебе как-нибудь расскажу, поделюсь при случае, как мы вроде венчались с ним, и сам дьявол черным ладаном на нас дымил... и как он меня поцеловал, и трупом изо рта у него пахло, и я ему свое да отдала! – прибавила она, не замечая преувеличений, потому что именно так представлялось дело ей самой. – Понятно тебе теперь, как крепко ты меня ему отдал? Вот за это самое, придет срок, я и посмеюсь над тобой. Эх, герой, скажу, где ж знаменитое твое геройство? – Шепотом начав речь, она кончила без опаски, что хоть клочок ее достигнет ушей Агея.

Комната была жарко натоплена. С пылающими висками Векшин снова отошел к окну. На очистившемся западном небосклоне скудно пока светились чужие окна, и слева обычное мутное зарево уже подпирало грозивший рухнуть свод ночи... Вдруг Векшина еле слышно и робко позвали сзади по имени, но нельзя было обернуться, потому что, возможно, с этого зова и должно было начаться Митино возмездие. В ту же минуту Агей внес почти игрушечный самоваришко, держа его в растопыренных пальцах, наподобие гармошки. Кажется, Вьюга решила не откладывать исполнение своей угрозы. Она задержала теплый взгляд на Агее, выражая признательность на их немом секретном супружеском языке и, кажется, обещая награду.

Митьке почудилось позже, что, расставляя посуду, Вьюга шепнула на ухо Агею какой-то смутительный вздор, и тот стал еще покорней, а внутри Митьки скользнула странная, мимолетная боль, обожгла и пропала, но ожога ее не залечили бы и годы безоблачного счастья.

Долго гостевать в этом доме было не в Митькиных намерениях. Он решительно отказался от чая с любимыми его сушками и покупного варенья в низких баночках. Стоя, Агей описал вкратце обстановку подготавливаемого набега, но его увядший разум уж не был способен к спортивной игре или дерзкой выдумке. Ни искры искусства не оставалось в нем, к намеченной цели он шел напрямки, через мокроту и ужас... Дело предстояло не очень сложное – выпотрошить медведя, несгораемый шкаф в конторе одного частного, акционерного якобы общества, выпускавшего, как сквозь желтые прокуренные зубы пошутил Агей, душистые зубные порошки особо тонкого помола: для девственниц. В действительности предприятие было вовсе не частное и занималось совсем иными делами: Агей предвидел возможное Митькино упирательство. И вообще лишь с запозданием раскрылся каторжный замысел этого лихо построенного Агеем розыгрыша в отношении соперника. Весь его вполне оправдавшийся расчет состоял в том, что, добравшись на место действия через задний ход, Митька, по ночному времени не расчуяет, куда пришел с визитом... Со слов бухгалтера-наводчика, медведь был простодушный, старинного устройства, и жирный, то есть денежный. Тот же бухгалтер, придумавший ограбление для частичного сокрытия растраты, дал сведения о ночной охране, размерах дневного поступления, близлежащих подвалах и, наконец, о тайной сигнализации за наружной вывеской.

После Агея свои условия поставил Митька, и тотчас стало ясно, что все произойдет по его наспех набросанному плану. Сопя, Агей с хлебывал с блюдечка чай с сахаром вприкуску, очень довольный и как бы безоговорочно признавая Митькино превосходство. Вьюга с рассеянным видом прислушивалась к сговору, изредка заглядывая в мятый, на столе, Агеев чертёжик конторского помещения, потом снова занялась пятном на рукаве, словно опасалась, что с платья Агеево прикосновение проникнет на самое ее тело. Вскоре она совсем ушла...

Разумеется, содержание всех приведенных здесь необузданных словесных откровений следует оставить на совести сообщившего их Фирсова. Впрочем, все из той же сочинительской хитрости он излагал их не от своего лица, а приписывал своему зеркальному однофамильцу; правильнее всего было допустить, что в действительности такого разговора вовсе не было.

XVIII

В фирсовской повести из всех жильцов квартиры номер сорок шесть наиболее полное описание потребовалось для Петра Горбидоныча Чикилева, хотя соседи, имея в виду его поразительную способность по части наведения ужаса, не хуже сослуживцев окрестили его человечком с подлеей. Из-за одного личного, случившегося у автора столкновения со своим персонажем – и во избежание дальнейших – Фирсов проявлял щепетильную точность в его характеристиках, даже стремился оправдывать в нем то, чего и не следовало бы. Так, на редкость неуживчивый характер Петра Горбидоныча сочинитель объяснял исключительной и не зависящей от его воли бесталанностью и отсюда законной обидой на остальное человечество, которое, несмотря на провозглашенное и завоеванное равенство, все еще продолжает наделять любимцев сомнительными, а зачастую и опасными для будущего достоинствами. Печать столь чрезвычайной посредственности лежала на внешности и судьбе Петра Горбидоныча, что не только выдающихся радостей, но даже несчастий не случалось в его жизни, достойных описания, – он как-то ни разу и не болел по-настоящему, хотя постоянно недомогал; никогда не испытывал возвеличивающего его личность горя, зато огорченьями был отмечен всякий день его. Но, как нередко случается, на службе эту почти феноменальную ничтожность неизменно относили за счет его врожденной скромности. И потому Петр Горбидоныч пуше всего боялся блеснуть соображением при высших лицах, чтобы не возбуждать в них подозрительности, могущей возникнуть от сравнения умственных способностей. Это не значило, однако, что у него не зарождалось полезных планов, напротив – всегда в голове его имелось несколько, но все они касались неустroйств второстепенных и за пределами его учреждения, как, например, проект вывести сорт картофеля кубической формы для удобства в укладке и перевозке на дальние расстояния с последующим переносом, если окупится, и на яйценосение у кур. «У меня еще и не то в башке тaitся...» – с опущенными очами бахвалился он в подходящей компании, рассыпаясь тем дробным щекотным смешком, что вырабатывается от общения с могущественными начальниками. Естественно, последним нравилось иметь под рукой кроткого, зубатого ребенка, пускай в годах, зато с чистой душой, чтобы без риска последующих разочарований опереться ему на темя в хорошем настроении. Всегда поэтому на мутно-зеленой груди Петра Горбидоныча красовалась уйма разных жетонов и значков, которыми отмечается не столько участие в чем-либо, сколь присутствие. Так, действуя где силой убеждающего взора, где цитатой из политграмоты, а где неким третьим способом, – постепенно высверливал он себе норку в новой жизни, как когда-то и в старой; накануне революции был он представлен к Анне, каковой не получил вследствие, как он оговорился однажды, возникших в России беспорядков... Уже достиг он председательства в домовом комитете, имевшем немалое влияние на здоровье ближайших к нему граждан, заседал и повыше кое-где, но все подвигалась вперед его житейская карьера.

В связи с помянутыми успехами, Петр Горбидоныч и замыслил жениться на подходящей невесте, однако не для продления своего рода или во имя каких-либо личных телесно-нравственных интересов, а с почтенной целью приобрести высшую солидность для еще более аккуратного выполнения порученной ему должности. Предприятие это было уже обдумано как со стороны финансово-хозяйственной, так и в смысле юридических осложнений на случай развода, если бы избранница оказалась негодяйкой, – едва же дошла очередь до жилищной площади, мечта Петра Горбидоныча сразу уперлась в ничтожное, казалось бы, но вместе с тем неодолимое препятствие в лице сожителя Манюкина. Вопреки расчетам, тот еще проживал на свете, хотя, кроме как на место его коечки, некуда оказалось поставить предполагаемый буфет для хранения в оном подсобной домашней утвари. Ввиду значения, которое приобретала в мире общественная и финансовая деятельность Петра Горбидоныча, помянутое противодей-

ствии Манюкина можно было рассматривать даже как злостный выпад против, по меньшей мере, государственной казны, – в свою очередь, это давало преддомкому моральное право на вытеснение сожителя из комнаты, находившейся в их совместном владении. Атака началась с повышения квартирной платы... да и действительно, недостатки Манюкина вызвали законные подозрения относительно их источника. Бывший человек не только выпивал в неумеренном порою количестве или, скажем, приобрел несовместимые с его исторической обреченностью вызывающе-желтые штiblеты, но и варил однажды на примусе не отечественную, а брюссельскую капусту, каковой факт Петр Горбидоныч, с риском обжечь палец, собственноручно установил через секретное обследование его алюминиевой кастрюли.

В одном анонимном письме куда следует, в поисках высшей справедливости, Петр Горбидоныч прямо ссылаясь на угрожающее поведение указанного Манюкина, каковое ему якобы удалось мимоходом изучать, примкнув к замочной скважине в качестве случайного наблюдателя. Находясь под хмельком однажды, Манюкин неосторожно намекал даже самому Петру Горбидонычу в лицо, что не следует доводить живого человека до той крайности, когда тот может поступить нехорошо.

– Не загоняйте меня в угол, дорогой мой Петр Горбидоныч, дабы не выйти мне из человеческого облика, – извивался он, – чтобы не оскорбить мне вас шальным словом или тем более прикосновением. Раз вы являетесь человеком по форме, то будьте же им и по содержанию!

– Не противьтесь духу времени, гражданин, – уничтожающе фыркнул на это Петр Горбидоныч и крутил ус. – Доведете меня до того, что войду и опишу ваш примус... с последующим выселением, ибо самое существование ваше представляет собою явление глубоко безнравственное. Мой же вам совет, как старшего по положению, кончайте частную профессию и поступайте на оклад в государственную филармонию, либо переселяйтесь в какое-либо общежитие...

– Так ведь, обожаемый, не примут меня на службу, как бывшего... какое же в таком разе остается мне общежитие, кроме Ваганьковского? – до высочайшей ноты утончался манюкинский голос, а рука сама тянулась к пуговке чикилевского френча, но тот неподкупно отстранял этот заискивающий жест отчаянья. – И без того находясь в непрерывном верчении, больше всего страшусь я, как бы не пробудился во мне нежелательный атавизм. Вот скакну на вас и откушу вам, например, ухо!

– Не угрожайте, не отступлюсь, Сергей Аммоныч, а стану биться... – чуть бледнея, притупал Петр Горбидоныч. – Вы упускаете из виду закон, который с неусыпным мечом стоит на страже моего уха. Но я хочу с вами без наскоков, а по совести... Можете ли вы допустить в мыслях, что вдруг я женюсь, отчего воспоследует потомство? Характерно, я не собираюсь дюжину разводить, но одного, для содействия природе... в этом я не вижу никакого излишества. Заметьте, что солнца в ваш угол падает неизмеримо больше, чем в мой, а ведь для неокрепшего организма, как учит нас передовая наука, солнечный свет гораздо важнее даже материнской ласки. Значит, своей политикой неужажания вы не только препятствуете обновляющей смене нашего общества, но и вообще встаете на дороге прогрессивного человечества. Теперь понимаете ли вы, гуляющий человек, актуальный смысл всей борьбы моей?

Как всегда, их крикливое препирательство привлекло остальных жильцов ковчега. Высыпав в коридор, все они окружили спорщиков – в том числе певица Балужева с братом, безработный Бундюков, все еще находившийся пока без применения как видный комиссионер по продаже крупной и недвижимой собственности, и прочие, а вот уже подходил и Митька, чуть навеселе и оттого более невоздержанный на слово, чем обычно.

– Эх, Чикилев... – еще издали даже благодушно заусмехался он, будто не случилось раньше трений между ними, – кантики-то служебные сменил, а душа прежняя, волчья осталась. Душу пора менять, Чикилев! – к удивлению многих, знавших его, несколько сипловато

заговорил Векшин, и все кругом приготовились к дискуссии на гуманитарно-педагогическую тему. – Ну, чего ты все клюешь-долбишь старика? В нем и питания-то никакого нет, какой из Манюкина навар... разве только для удовольствия? Дай человеку подышать на оставшийся гривенник жизни!

Впрочем, если Митьку и мог тронуть образ исторгаемого из жизни Манюкина, то лишь в той степени, в какой жалкость этой общественно бесполезной личности совмещалась в сознании Векшина с его собственной недалекой будущностью. Слова его объяснялись скорее давней неприязнью к преддомкому, и ковчежные жильцы, зная горячий нрав обоих, с жадностью внимали в ожидании неотвратимого скандала. Вовремя подоспевший музыкант Минус с такой тревогой в лице вслушивался в разговор опасной дискуссии, что пальцы его, всегда в движении по воображаемой флейте, застыли на полувзлете. И как только Митька некстати помянул о жалости, тотчас от жильцов отделился Матвей, брат певицы Балугевои.

– Будучи наслышан о ваших печальных обстоятельствах, я не собираюсь тратить время на укоризну, – начал он с холодком брезгливой вежливости. – Но по тем же непроверенным слухам, вы не всегда занимались нынешним ремеслом, а даже сражались в авангарде... вот я и хотел бы через посредство товарища Королева спросить у того, вчерашнего Векшина, если он дома, разумеется... что он думает о незаживших ранах, о диктатуре и классовой борьбе?

И хотя не к лицу было Митьке отступать на глазах у всех, он умолк с опущенной головою. То самое, чем недавно сокрушал он врага, в некотором смысле опускалось теперь на его собственную голову... Здесь, в повести своей, Фирсов отвлекал читателя от постыдного векшинского смущения воспоминанием об одной великолепной, рассказанной ему Санькой Велосипедом, кавалерийской атаке. Именно с этим призывом к непримиримой борьбе брал однажды Векшин в лоб белую батарею, готовую принять его на картечь. «Бесстрашные, неповторимые дни! Вверху – ветреное, слезоточивое небо, внизу – гулкая замороженная земля, а между ними стремительная скачка Митькина эскадрона. Значит – борьба и там, в честной рубке один на один, и здесь – в подглядывании через замочную скважину? Подмена, распыление? Митькин ум не мирился с установкой на житейские мелочи, а легионы их обступали его отовсюду. В перестройке всех механизмов общественной жизни изнутри, в перекладке ее фундаментов, – пытался объяснить Фирсов, – заключался тогда весь смысл революции, но как раз к этой невознагражденной, кропотливой деятельности и не был способен тогдашний Митькин разум...»

Меж тем, отчаявшись получить развлечение от Митьки, жильцы потешались теперь над Манюкиным. Быстрый на смех и слезы, особенно под хмельком, Манюкин величаво уставлял руку в бок, другую же как бы приветствовал воображаемые толпы. За время дискуссии он успел сбегать к себе и подкрепиться у подоконничка.

– Топчите меня и обливайте позором, господа! – возглашал он, прерываемый возгласами удовольствия. – Я из последних распоследнейший барин на вашей земле... – И не без смысла напевал про взятие Казани и Астрахани плен, про бой Полтавский, про гордецов, которые не сняли однажды шапок у священных кремлевских ворот. – Пусть блекнет все больше рассудок мой и прелести жизни уже не обольщают меня... я еще хожу и гляжу на вас моими собственными глазами. Где он, похититель жизни моей, Чикилев? Подведите его ко мне, дабы мог я выразить ему свои чувства. Прощаю!.. и черт побери мое самопогубительное славянство! Великодушные есть порыв божественной души, как говаривал, бывало, Александр Петрович Агаррин! Эх, минувшие времена... проснешься – неокрепшие птенчики свиростят под стрехой крыши, ветерочки с листвою балуются, и все тебе приятно... даже муха, ибо и на ней почил отблеск творца! – И вот уже Сергей Аммоньч готов был пролить слезу над своей импровизацией. – И тут бубенчик, а вот уже стоит у крыльца подкатившая тройка этаких уютных потертых коняг, и на козлах необычайный Иван с целым павлином на шапке, а в шарабане он сам, незабвеннейший Саша Агаррин! – И, отступив назад, Манюкин с набегу обнял воздух. –

«Сашок, ты ли это?» – и оба восплачем, разревемся от красоты нашей дружбы... и чертов ус опять, бывало, ноздри мне щекочет. Где ты теперь, милый?.. отзовись, дружок!

Всем очень понравилось, когда, приподнявшись на носки, Манюкин произвел руками как бы трепетанье крылышек, словно собрался лететь к своему Агарину в места его нынешнего пребывания.

– Погодите, Сергей Аммоныч, мы стульчики расставим и соседей пригласим, чтоб уж зря представление не пропадало! – оживился Бундюков, всегда вспоминавший о ближних, если это не бывало связано с расходами.

– Пьяный, несчастный, ломается, а вы потакаете, – раздался гневный Зинкин голос. – Иди спать, барин... скоро на работу тебе пора, отправляйся! – Она тащила Манюкина за рукав в его комнату, а тот, изобразив свободной рукой смехотворный хвостик позади себя, предостерегал ее насчет неотразимой красы Саши Агарина.

Медленно трезвея, Митька собрался с мыслями наконец. Все еще с закрытыми глазами, чтоб лучше сосредоточиться, он протянул руку и дружелюбно взял за пуговицу Зинкина братца.

– Вот ты на доктора учишься, – тихо заговорил он Матвею, потягивая его на себя, – и станешь со временем людской доктор. И позовут тебя, скажем, к архиерею, чтоб ты его вылечил. Ты что же, откажешься или яду ему дашь во имя всемирного счастья?

– Виноват, – деликатно возразил Матвей, Зинкин брат, на этот раз фирсовским голосом, – вы возьмитесь лучше за другую пуговицу, Дмитрий Егорович, эта еле держится. Итак, вы обмолвились насчет яду. Прекрасно, продолжайте, прошу вас... В кого же это вы надоумились влить ядку на предмет всемирного счастья?

XIX

На этот раз Фирсову везло. Стоя перед Митькой Векшиным во всеоружии профессионального внимания, приятно ощущая прикосновение Митькиных пальцев, он изготовился к принятию желаннейших для него откровений и, чтобы не испортить дело, даже напустил на себя слегка туповатое выражение. Митька вопросительно поднял глаза. Крутой фирсовский лоб очень кстати напомнил ему другой – бугристый и темный, с ниспадавшей к переносью седоватой прядью, обреченный лоб Агея. Фирсов счел за добрый признак озабоченную, вместо гневной, Митькину усмешку и не ошибся.

– Куда ж ты запропал, сочинитель, второй день тебя ищу.

– Да я всегда незримо близ вас сную, Дмитрий Егорыч, – умно и кротко отвечал Фирсов.

– Тогда... зайди ко мне, я вернусь через минутку к себе, – вполне благожелательно приказал Митька, и вот, не дожидаясь повторенья, тот уже похаживал взад-вперед по Митькиной комнате, потирал руки, прилаживаясь к изменившейся обстановке. Впрочем, во всем доме из-за брачной озабоченности Чикилева уже недели две было прохладновато.

– Чего, артист, приглядываешься? – окликнул сзади Митька.

– Апартаменты ваши весьма на каземат похожи. Единственно решеточки для романтики на окне недостает.

– А! – не поняв, отозвался Митька. – Садись и слушай... кстати, и мне папироску дай.

– Сел и слушаю!.. только я дешевые курю.

– Ничего!.. и не тормозишься попусту: ведь я не совсем уж злодей, как и ты, надеюсь, не полный пока мошенник. Не выношу пестроты в глазах, – устало предупредил Митька. – Итак, существует личность такая на свете, под названьем Агей Столяров.

– Наслышан малость.

– Что же ты про него слышал?.. и спички тоже дай.

– Ну, как бы сказать: обломок недавнего вселюдского подлого побоища. Мужчина ночной, неприятный, со странностями, говорят...

– Мало знаешь: в семь раз хуже!.. почему спички сырые у тебя?

– Наследника давеча купали, в лужицу спички выскользнули.

Митька вскинул на него внимательные глаза.

– А у тебя есть?.. вот не предполагал. Канительно поди нонче с детишками?

– Не очень: ведь свой. Но смысл жизни, а вроде и развлечение: шумит, производит беспорядок бытия... Надо, Дмитрий Егорыч!

О будущем ребенке всего лишь в то утро уведомила Фирсова жена, но он придвинул предстоящее событие, по бессознательному наитию прибегнув к лжи, помогавшей ему взломать упорное недоверие собеседника.

– Это ты верно... – задумчиво обронил Митька и некоторое время молчал потом. – Так вот, об Агее: во что бы ни стало желательно ему повидаться с тобой, господин хороший!

– На кой же ляд я ему снадобился? – ища тональность для разговора, вскинулся Фирсов и прибавил очень уместно, что его Федором Федорычем зовут.

– Да как тебе сказать, Федор Федорыч... Ты ведь сочинитель, если не врешь?

– Грешу... – буркнул Фирсов, разочарованно поглядывая себе на пальцы в чернилах. – И что из того?

– А то, Федор Федорыч, что догорает человек... и вот скучно, томно ему задышаться в собственном своем чаду. Видно, желает объяснить себя людям...

Не спеша, пользуясь временным превосходством, Фирсов прикидывал что-то в уме.

– Исповедь, словом?.. не пробовал себя в этой роли. Сложновато с ним, пожалуй?

Оба помолчали, каждый по-своему провидя скорую Агееву концовку, и так как чужая могила сближает, то, начиная с этой минуты, ледок их отношений утончался беспрестанно. Правда, далеко было не только до приятельства, даже до полного доверия, однако Митька уже признал человеческое гражданство в сочинителе, а сочинитель перестал прикидываться для самозащиты тем, кем не являлся на деле. К великому разочарованию сочинителя, Митька выставлял Агея в подмен себе, а Фирсова как-то не тянуло идти в духовники к человеческой падали. Поэтому он сразу с ворчливой откровенностью и объявил, что новых пассажиров в повесть не принимает, билеты проданы, и вообще волшебный ковчег его готов к отплытию. Кроме того, включение в повесть сильной и грубой фигуры вроде Агея могло наложить нежелательный отблеск на чисто умственную, по тогдашнему фирсовскому замыслу, трагедию Дмитрия Векшина.

– ...вашу трагедию, глубокоуважаемый! – впервые в открытую заключил Фирсов и на пробу с трактирной фамильярностью потрещал по колену затихшего от любознательности Векшина. – А как же, для чего же я столько времени и с таким риском обхаживал вас? Весь ваш житейский путь давно обдуман и в мыслях почти построен мною как перекинутый над пропастью зыбкий мосток от преступленья к просветлению... и ежели такое мертвое, с позволения сказать, плывучее инородное тело, как Агей, шархнет невзначай по свае, сооружение мое может рухнуть к чертовой матери.

Он упирался лишь для виду, потому что дело было сделано, машина воображения пущена в ход, и вот фирсовский карандаш как-то сам собой прошелся по листку записной книжки, закрепляя одну соблазнительнейшую, из предстоящей исповеди вдруг возникшую подробность.

– А может, по знакомству найдется и Агею уголок?

– Подумаю, не знаю... Правду сказать, есть там у меня вакансия одна: с кем от вас главную героиню увести, да вот колеблюсь, не получился бы перекося сюжет в уголовную сторону; эх, только ради вас, Дмитрий Егорыч! – с видом крайнего одолженья согласился наконец сочинитель. – Однако он как вообще... безопасен пока в общежитии?... по-людски-то можно с ним калякать или уже только с помощью хлыста да пищи? Не люблю я, знаете, навязчивые товарцы, что сами в руки просятся либо слишком уж подозрительно на виду лежат. Собственно, я ведь тоже вор, секретно брожу по жизни, тащу к себе в суму, что глянется: мечтаныце из девичьего тайничка, объятьишко в чужом окне... конечно, если закаташко подходящий навернется либо затоптанное в грязь перо жар-птицы, и их туда же. Перелицуешь на досуге, подклеишь кой-где собственной кровцой, да и пустишь в повторный обиход как эхо жизни... Так-то-с, Дмитрий Егорыч!

– Ну чем же ты, вор, себя с нами равняешь, – засмеялся Митька, и на этот раз без особой неприязни проследил, как Фирсов прятал в карман исчерканную записную книжку. – Мы шпана, нас только в отделениях милиции и знают, а ты... тебя еще, глядишь, пройдет лет семнадцать с небольшим, в гении местного значения превознесут! Пойдем же, я тебя с ним сведу, с Агеем, да и мне тоже пора!

Спускаясь по лестнице, они опять на время замолкли. Фирсова тревожил подступавший теперь период работы за столом. То самое, чего добивался почти полгода, сейчас ощутимо приблизилось к острию его карандаша, а он уже устал от унижительных хитростей, головоломного риска, скитаний по трущобам. Начиналась мучительная пора, когда только что проступившие из небытия еще зыбкие герои, в чужой пока, перепутанной одежде, с неустоявшейся речью, занимают отведенные им места, и требуется ужасное напряжение воли, какое-то почти магическое слово – заставить эти ключья ожившего тумана вступить в правдоподобную игру, смеяться и плакать – так, чтоб над ними прослезились современники. Он старался не думать, во что ему обойдется, до и после выхода книги, задуманное предприятие...

А стоял отличный вечер, слегка засиненный морозной луной. Колокол невдалеке вещал о крещенском сочельнике, а от хрусткого скрипа подошв в жилы вливалась какая-то подщелкнутая бодрость. В небе вдобавок, для полноты впечатления, были рассыпаны звезды, в снежных рамках окон мерцали тишайшие вечерние свету. И так ловко получилось, что к концу совместного с Митькой путешествия Фирсов нес в голове еще одну, целиком готовую главу.

– Эх, братцы, изображу я вас, – задиристо вскричал он, – как сквозь лупу представлю! Пальцы ихние прямо в язвы суну: пускай кой в чем удостоверятся. Косноязычны мы пока – о многом рассказать не можем, не жжет наш огонь... но скольким мы владеем, сколько еще выстроим и напишем и мир неоднократно удивим!

Понять его сейчас было невозможно, но Митька тоже был в отменном настроении и только покосился с непривычки на вцепившуюся в его рукав фирсовскую руку.

– Чудачина ты, – сказал он, – шуршишь писчей бумагой и утешаешься, будто всемирным делом занят. А к чему нам, революции, твоя суета? В бумагу, да еще в порченую, рабочий класс не оденешь, книжками мировую бедноту не накормишь... – И покосился на замолкшего Фирсова. – Как полагаешь?

Фирсов бросил в его сторону злой и короткий взгляд.

– Вот за такое плачевное ваше пренебрежение к этому и накажу я жестоко вас... разумеется, всего лишь в пределах ничтожной повестушки моей. Ибо здесь коренится важнейшая причина всех ваших невзгод... вдобавок к уже постигшим Дмитрия Векшина! – Вдруг он осекся и закусил губу. – Впрочем, не бойтесь в будущее заглянуть?

Это вырвалось из него с болью, и, кажется, вора заинтересовала столь потешная сочинительская способность волноваться по сущим пустякам.

– Ничего, раскинь мне свои вещи карты, гадатель!

– Так ведь зарежете, пожалуй, Дмитрий Егорыч... переулочек пустынный, на помощь прийти некому!

– Напротив... в награду возьмешь ты любого коня, – словами знаменитого стихотворения посмеялся Векшин.

– Вот смеетесь, а погодите, вспомните меня с зубовным скрежетом задним-то числом, – погрозился Фирсов и, точно сорвавшись, заговорил страстно, донельзя убежденно, вдохновясь озорством подобной беседы с собственным своим, лишь вчерне накиданным персонажем. – Держитесь тогда, Дмитрий Векшин! Если только в главном не ошибаюсь я, великие разочарованья поджидают вас впереди, поистине царственные в сравнение с нынешними вашими огорченьями, столь увлекательными для сыщиков, благушинских сплетниц и управдомов. Ничего, молодые годы многих достойных лиц изобиловали еще более шумными шалостями. По замыслу повести моей, хотя и за ее пределами, людям вскорости суждено достигнуть завершающего счастья со всеми его отраслевыми благами... в меру потребностей каждого, также вкуса и воображения, разумеется. Из сокровищницы бытия, к сожалению, мы уносим лишь в меру емкости карманов наших... с тем преимуществом личным для вас, что круглая мозговая кость с прической, находящаяся на ваших многоуважаемых плечах, вполне стерильна от печалей, сомнений и отчаяний, разрушительных для нашего оптимизма. Когда подступит человечеству срок перебираться из трупоб современности на новое местожительство в земле обетованной, оно перельется туда единогласно, подобно большой воде, как ей повелевают изменившийся рельеф и земное тяготенье. Накануне коменданты с пистолетами окончательно раскулачат старый мир, оставив ему лишь бесполезную ветошь прошлого – слезой и непогодой источенные камни, могильники напрасных битв и прозрений, храмы низвергнутых богов. Однако и часа не пройдет на пути к пункту назначения, как странная тоска родится в железном организме вашем... никого не тронет, а вам ровно ноги повяжет она. И с каждым шагом все смертельней потянет вас кинуть прощальный взор на сумеречную, позади, из края в край исхоженную предками пустыню, где столько томилась она, плакали, стенали и стыли у пещерных костров, всматрива-

ясь в звезды, молились, резались и, наряду с прогрессивными поступками, совершали и весьма неблагоприятные. А со времен злосчастной Лотовой жены нельзя оглядываться на покидаемое огнище, чтобы заразы туда не занести... да никому и в голову не придет, потому что в том будет состоять спасенье, чтоб не оглядываться!.. Вы один у меня оглянетесь – не из дерзости, вопреки грозному запрету, а по какому-то тревожному и сладостному озаренью... чем, собственно, и полюбились вы мне на горе мое, русский вор и нарушитель законов, Дмитрий Векшин. Да ведь я никогда и не брался за тех, что не оглядываются...

– Не тяни, открывай... что же такое за спиной у меня окажется? – напряженно покосился Векшин.

– Прежде чем ответить на вполне законный ваш вопрос, чуточку задержу ваше внимание на одном предварительном обстоятельстве... Любое поколение мнит себя полным хозяином жизни, тогда как оно не более чем звено в длинной логической цепи. Не одни мы создаем наши навыки и богатство... И в этом смысле христианская басня о первородном грехе не представляется мне безнадежно глупой. Прошлое неотступно следует за нами по пятам, уйти от него еще трудней, чем улететь с планеты, вырваться из власти образующего нас вещества. Только красивые съедобные рыбки да разные нарядные мотыльки избавлены от мучительного чувства прошлого, и не надо, не надо, чтобы человеческое общество достигло когда-нибудь этого идеала...

– А ты не запугивай, Федор Федорыч, – сердясь от нетерпенья, одернул его Векшин. – Не из пугливых: показывай свою куклу, чем ты меня стращаешь?

Незаметно для себя они остановились на переходе, посреди мостовой, так что извозчикам и водовозам приходилось с бранью объезжать их стороной. И хоть мало смыслил в фирсовских иносказаньях, Митьку впервые захватила возможность взглянуть на себя завтрашнего – пусть даже чужими глазами.

– Да, собственно, такому всесветному удалыцу стращаться там вроде и нечем! – сурово и торжественно продолжал Фирсов. – За спиной у вас окажется, весь в чаду и руинах, поверженный и вполне обезвреженный старый мир. Уж такую распустейшую пустыню увидите вы позади, словно никогда в ней и не случилось ничего... не пожито, не люблено, не плакано! Привалюсь к обезглавленному дереву, на фоне прощальной виноватой зорьки будет глядеть вам в очи вчерашняя душа мира, бывшая! Самое хозяйственное комендантское око не обнаружит на ней сколько-нибудь стоящего, подлежащего национализации имущества... кроме, пожалуй, раздражающе умной, колдовской блестинки в ее померкающем зрачке. Никто и вниманья не обратит вроде на такой пустяк, а вы непременно его заметите, Дмитрий Егорыч!.. И тут опалит вас жаркая догадка, не эта ли ничтожная штучка, искорка, почти как точка, так что и ярлычка инвентарного присургучить некуда, и есть наиважнейшая ценность бытия, потому что выплавлена из всего, сколько у нас его было позади, опыта человеческой истории. С одной стороны, так вас потянет к тому таинственному мерцанию, молодой человек, будто в нем-то и заключается главная адская сладость, а с другой – и жутковато станет, потому что весь кураж младости и заключен бывает как раз в его великолепном отсутствии... Есть старинное русское поверье про колдунов: не дается им умереть, пока не передадут юнцу свое проклятое могущество. И пока вы станете гадать, как вам половчей добыть ее, вчерашняя душа сама и протянет вам свою блестинку. «Не томись, скажет, не зарься, Митя, бери мое сокровище, тем уже одним великое, что ни отнять его, ни погасить нельзя, ни из комендантского нагана прострелить. Возьми поиграй, прикинь на пробу, полюбуйся сквозь это волшебное стеклышко, столь малое и прозрачное, – словно и нету его вовсе, на сокрытые вокруг тебя житейские тусклости, такие серые в свете обычного дня!..» Оно и не надо бы для здоровья-то, а тем и полюбились вы мне, вор Дмитрий Векшин, что ничуть здоровьишком не дорожите. Любой благоразумный остерегся бы, а вы хватать пятерней да как пьяница чарку свою – захлебку! А то не сладость, не спирт, не избавительная смерть, а вся память рода человеческого о былом. В ней растворены без осадка такие, на

нонешний взгляд, пустяковины, как пыль от развалин знаменитейших храмов или зов путника, заблудившегося на пике высочайшей мыслительной горы, а – для приправы – гнилая горечь повисшей в водной бездне грабительской бригантини, и христианского мученика кровинка, и пепла малая шепотка из еретицкого костра... Туда входят также несущественные, казалось бы, горести и скорби дедов наших, бесполезные мечтания, несвоевременные сомнения или разочарования героев и другие вещества, из коих иные священной многих великих откровений... ну и прочая духовная фармакопея, которую некоторые современные аптекари содержат под замком, в банках с притертыми пробками и с костяшками на ярлыке. О всемирной душе речь идет, понятно?... Как, есть в тебе душа?

– Да вроде не прощупывается... – усмехнулся Митька. – И ты полагаешь, стану я пить чертову твою настойку?

– Хлебнешь, родной: не писал бы про тебя, каб не так... сперва на пробу, а там и губ не оторвать. Хмельней опия штука!.. с пары глотков каким-то иррациональным косвенным зреньем начинаешь примечать странное, во всю даль прогресса, смещение главных планов, и вдруг поверх сущего, на плоской холстине действительности проступают плывучие, в самых угрожающих сочетаниях и на грани обобщительного безумия, знаки и числа, мерцающие пейзажи и события, по счастью, не доступные большинству и справедливо отвергаемые иными философами, потому что это всегда мешало... как бы выразиться поточней?

– Кто, кому помешал? – угрюмо воспользовался его заминкой Векшин.

– Ну... мешало им посредством благоразумного упрощенья, так сказать через нивелировку структурных различий между пяткой и капризной тканью мозговой, добиться высшего блага для человечества – избавления от наиболее опасного из всех разделительных зол, от интеллектуального неравенства. И если не спалит тебе внутренность смесь моя, то когда-нибудь воротимся еще к затронутой темке... не я, так тот заключительный Фирсов, который через сотню лет станет подводить итоги. Он-то и запрет нас с тобой, Дмитрий Векшин, навечно в писчую бумагу для истории... – Он кончил чуть не в одышке и принялся машинально протирать расцарапанные морозцем стекла очков. – Как, понял хоть крупицу, ворюга?

В его обращенье, кроме дружбы и чуть высокомерной власти, прозвучала нетерпеливая, затаившаяся надежда.

– Понял... лишь слова отдельные, – признался Векшин. – Загнул ты мне притчу, сочинитель. Выходит, по-твоему, нельзя в завтрашнее без вчерашнего войти... так, что ли?

– Почему же, можно, все можно, но во избежанье худшего... стоит ли?

Векшин глядел на него с тревожным беспокойством человека, разбуженного прикосновеньем незримых рук.

– Навел туману, сочинитель: не то драться с тобой, не то кланяться. Не хвала и не обида, а может, и ненависть одна на поверку. Чем я тебя задел, обидел, рассердил?... не боязно тебе со мною так?

– А чем, чем ты меня обидеть можешь, когда тебя даже и нет пока, раз я тебя пока не написал!.. – чему-то разъярился Фирсов. – Ножом, пожалуй... так во мне и останешься тогда. Ладно, все: ступай в люди, ищи, томись, воскресай и разбивайся снова! – еще непонятней рассмеялся он прямо в лицо своему плачевному герою и отцепил от плеча его руку. – Ну-ка, пусти теперь, пальто порвешь... да и пора нам.

– Досказывай, куда поведешь меня теперь... – охваченный томлением догадок, спросил Векшин.

Тот не ответил: и без того клял себя, что разболтался не в меру, да еще на морозе, с риском голос потерять. Все в ту минуту необыкновенно обостряло фирсовскую восприимчивость: и острота оборванного в разбеге разговора, и сделанный им вызов неизвестности, самая безлюдность заваленной снегом улицы, полной еще никем не прочитанных, никому не проданных тайн. При стесненных фирсовских обстоятельствах нельзя было пренебрегать столь

хлебными мелочами. Он и на встречу с Агеем согласился из ремесленного расчета выковать жемчужинку из этой подыхающей раковины.

На ближайшем перекрестке Векшин задумчиво и дружелюбно – потому что устраивал встречу не без отдаленной выгоды для себя! – расстался с Фирсовым. На прощанье он дал сочинителю несколько практических советов в обращении с предстоящим собеседником и прежде всего адресок, по которому полчаса спустя должен был явиться Агей Столяров.

XX

Закончив труды дня, Пчхов воротился из мастерской в заднюю комнатушку. Он снял с себя все, что носило след прикосновенья к железу, и отмыл руки каустической содой. Потом надел старенькую меховую безрукавку, долголетнюю свидетельницу пчховских скитаний и превращений, а ныне верную хранительницу пчховского тепла.

Со двора в подслеповатое, осколками остекленное оконце обычно стучали как в дворницкую. У дверей жалось к стенке деревцо, про которое веснами догадывались, что это бывшая сирень; тотчас за углом примостилась помойка. Пчхов никогда не мыл окна, так оно надежней охраняло его непонятную жизнь от людского любопытства. Все равно весна не забредала в кривоватый пчховский дворик; все солнечные благодеяния пожирал высоченный, выстроенный подковой соседний дом, сумасшедше утыканный окошками. Солнце мастер Пчхов заметил печкой, которую сочинил по своему подобию. Коренастая, с прогоревшей на стиге трубой, она полновластно и мешая проходу громоздилась посреди каморки, сердилась и дымила порою в плохом настроении, зато всю ночь отдавала терпкое и чистое тепло. Большинство пчховских вещей было возвращено к жизни из мусорного ничтожества, вроде керосиновой лампы над столом, раздобытой в куче железного лома; мастер Пчхов приложил свое искусство к ее дырявым бокам, и она благодарно служила ему исправнее иных непроверенных друзей.

После дневных трудов присаживаясь к столу, Пчхов хозяйственно оглядывал свою конуру и, человек одинокий, неподслушиваемый, разговаривал сам с собой. Так сказал он печке, глодавшей толстое полено:

– Вот от злости глотка у тебя и ржавеет!

А лампе сказал:

– Погоди, поем – подолью тогда.

А себе, берясь за ложку:

– Займемся пустяками, Пчхов! – В пище он придерживался кваса и овощей, так что трапеза его была вольным подражаньем русской мурцовке.

Подкрепясь же, раскладывал на столе набор из рессорной стали самодельных стамесок, сверкавших нежными остриями, доставал с полки пластины цветного дерева и замирал в раздумье, прежде чем коснуться древесной мякоти лезвием. Превыше всех наслаждений на свете возлюбил он свое вечернее одиночество, – виток за витком снимать древесные слои, раскрывать спрятанную под ними красоту, а сквозь нее – мысленно и безотрывно глядеть на объятый пламенем мир. Очень похоже, что шорохом той волшебной стружечки пытался он заглушить рев бушевавшей вокруг бури, рушившей прежние веры и воздвигавшей новые взамен.

Для необыкновенности, которую собирался мастерить в тот вечер, он выбрал пластину березового наплыва, олохмаченную плотничьей пилой. Но едва взялся за рубанок для зачистки, пискнула незапертая дверь, упреждая о позднем госте. Пчхов обернулся, лишь когда тот повторно, робким прикашливаньем заявил о своем присутствии.

– А-а, все тот же, разлинованный, пришел... – без враждебности вспомнил Пчхов, поверх очков меря взглядом подозрительного посетителя. – Видать, отыскалась наконец вещица для починки... али опять дома забыл?

– Не знаю, чем сломить недоверие ваше, так как действительно в начале зимы имел неосторожность забрести к вам без видимой цели и – успеха поэтому... – начал Фирсов, ища красок для первого благожелательного впечатления, даже с ходу польстил Пчхову в том смысле, что ясная память – верный признак долголетия. – Верно, известен вам парикмахер Королев?

– Как же, упреждал меня Митя, что писатель придет. Сейчас, наверно, и тот ворвется... Сымай пока свою клетку, раз пришел, здесь не украдут!

– Не будет потери, если это и случится! – поддержал Фирсов, втискивая свой демисезон в тесный промежуток между печкой и стенкой, за отсутствием вешалки – тканью ворота на гвоздь. – Что это вы так пронзительно приглядываетесь?

– Сбил ты меня с толку в прошлый раз, – покачал головой Пчхов. – Барыга не барыга, а вроде, как бы сказать поглаже... ловец чего-то!

– Неужто на барыгу смахиваю? – без обиды заинтересовался Фирсов, уже осведомленный, что словом этим, так же как и каином, обозначается скупщик краденого. – Что же, писатель и есть ловец... ловец человеков.

– И чего же ты описываешь?.. в газетке что-нибудь, из жизни человечества али в другом каком духе?

– Ну, в газетке это дневником происшествий называется, – постарался быть точным гость, – а я то же самое беру, но главным образом как оно во мне самом отражается!

– Понятно, значит больше из ума охватываешь... – сообразил Пчхов. – Тоже неплохо.

Оба занялись своими делами. Фирсов принялся протирать запотевшие с улицы очки, хозяин же – править стамеску на оселке, и пока они так примеривались друг к другу, лишь ходики стучали на стенке да поскрипывал под нажимом стол... Потом из потемок вышла кошка и стала тереться в ногах гостя.

– Зря стараешься, – сказал ей Фирсов, – ничего съедобного не захватил я с собой, уважаемая кошка.

– Гони ее, надоедливая, – отозвался Пчхов. – Чего там, на дворе-то?.. подморозило аль ростепель все? Когда лето сухое, то и зима бывает снежная.

– Снег еще давеча перестал, – сказал Фирсов и сделал попытку пойти на сближение. – Это у вас кошка местной, благушинской породы? Очень приятная кошка.

– Нет, это соседская, – правильно понял Пчхов смысл его замечанья. – Плесни молочка ей, вон с подоконника возьми...

Выполнив просьбу хозяина, Фирсов счел себя вправе и закурить, а заодно осведомиться о чурке дерева под окном, густая краснота которого на срезе перебежала кое-где в черноту запекшейся крови.

– Дерево это зовется амарант, на горячих реках растет. В старинной книге сказано, столпы в Соломоновом храме, что на паперти, из него были натесаны. Гордующее, от злой своей гордыни и не цветет никогда... – и придвинул брусок к свету, чтобы еще разок вникнуть в причину столь дурного характера.

– Позвольте выразить небольшое сомнение... – деликатно воспротивился Фирсов. – Всякое в мире цветет, ничто без того не обходится. Данная кошка, к примеру, и она, с вашего позволения...

– А это дерево, видите ли что, уважаемый гражданин, не цветет никогда! – ударил словом Пчхов, и гость понял, что имеет дело с глубокой верой, не подлежащей обсуждению.

И едва Фирсов, что-то пересилив в себе, вступил в этот целиком вымышленный условный мир, тотчас все эти бедные, валявшиеся на столе и запасные, на полке, шкурные и подкрашенные цветной морилкой дощечки подобно самоцветам заиграли в каменных сумерках пчховского одиночества.

– А вот это имеет название агорт – птичий глаз, – закончил Пчхов, добравшись до последней. – Тело имеет чистое и ровное, без единого родимого пятна. Дольше всех цветет, розово и раскидисто. Разбойникам кресты из него построены были. Отсюда разумному видать, что ни одно дерево без своего назначения не обходится, равно как и человек... всяк в мире свою должность несет!

Последовал снова испытующий взгляд, но теперь Фирсов не возражал, и в награду немало пчховских диковинок закатилось в записную книжку Фирсова до прихода Агея. Были там тайности о древней сосне, о мудром можжевеле, о травянистой лопотунье осине, о щедрой березе,

о клене, наконец; рисуя, как противостоит это своенравное дерево непогодному ветру, тяжело оседающему на его листву, Пчхов мимоходом обронил Митькино имя. Бесценный же березовый наплыв, по Пчхову, зарождается, когда тоскует дерево, либо отравлен его корень гнилой подземною струей, либо ударили его зазря железом.

И, точно испытывая фирсовское терпенье, старик заговорил о глубинной красоте этой отличной древесины в зависимости от пережитого ею страдания.

– Гляди, как она сама на себя стелется, как красиво и мучительно растет! – деликатным жалом стамески раскрывал он Фирсову девственную глянцевитую глубь, где, погоняемая неутомимой, во что бы то ни стало, жаждой бытия, мчалась, тугими витками наматываясь вокруг самой себя, обезумевшая древесная почка. – Так вот и люди: никому не дано уйти от положенного ему огорченья, и раз нанесенной трещинки уж ничем не заживить... Отсюда нам видать, – вовсе непонятно заключил Пчхов, – что прогресс человека летит подобно тому, как граната в воздушном полете, а развитие в его душе происходит по всем линиям, какие имеет в себе человек. Теперь и смекни...

Монотонную усыпительную речь прервал короткий и властный стук за спиной. И, подчиняясь захватившей его тревоге, Фирсов бросился к двери приподнять и без того не запертый крючок. Что-то большое, черно-красное, вспоминал впоследствии Фирсов, ворвалось со двора, столкнув его с порога. Несколько мгновений незнакомец через плечо выглядывал во двор, соображая пути возможного бегства, если бы потребовалось, неслышно притворил дверь, потом он долго и с мнимым усердием вытирал ноги о рогожный половичок, на предмет той же безопасности изучая исподлобья заваленные железной ветошью потемки углов... Затем сочинителю была предоставлена возможность наблюдать встречу Пчхова с Агеем, – первый пристально вглядывался во второго, который, не смея поднять глаз, наклонялся вперед, и виноватые руки его тяжело свисали, как от чужого туловища. Обоим одинаково нежеланна была эта встреча, но, к удивлению Фирсова, Пчхов глядел скорее с горечью, нежели осуждением; слишком видно было, с его благушинской высоты, сколь причудлива бывает игра человеческого вещества.

– А шибко остарел ты, Агей, – проговорил наконец Пчхов. – Сам себя живьем затаптываешь.

– А как же! Чего на свете ни возьми, во всем от времени морщинки проступают! – сипловато поусмехался тот и, взяв мелкую стамеску со стола, машинально пробовал ее о свой крепкий, с синцой давнего кровоподтека, ноготь. – Писатель тут меня не спрашивал?

– Ждет, карандаш точит на тебя описатель твой, – ежась и отбирая инструмент, отвечал Пчхов. – Не трожь ничего чужого, Агей, не велю!

Тогда, отделясь из темноты, Фирсов уверенно потеснил Агея к стене и, памятуя Митькины советы насчет решительности в обращении с ним, вызывающе нащурился было, но тотчас отвел глаза в сторону. Нельзя было без утомления долго глядеть в лицо этого человека.

– Итак, Столяров? – с тиком в щеке от неприязни и волненья спросил он вошедшего. – Что ж, довольно любопытно познакомиться со столь выдающимся деятелем, хе-хе, отечественного разбоя. Однако пристраивайтесь поудобнее, не торчать же нам вечер на ногах!

Чтобы не мараться Агеевым рукопожатьем, он сделал вид, будто полез за платком, и выдернул его за краешек; несколько монет, затерявшихся в кармане, звонко раскатились по полу, а соседская кошка так и прыснула в угол.

XXI

– Вот, черт, сто годов собираюсь кошелек купить, – с досадой бормотал Фирсов, как на распустье, – ползать ли ему возле Агеевых сапог, пренебречь ли рассыпанными гривенниками. – Фу, нелепица какая...

Впрочем, в свое время емугодились эти монетки; они помогли Фирсову подчеркнуть в повести замешательство своего двойника перед темным обаянием Агея.

– А не тянешь ты, дружок, на сочинителя! – подозрительно скопился Агей, которому доводилось видеть русских писателей на портретах. – Я так рассуждал, сочинители в зрелых годах находятся...

– Ничего, имею время впереди исправиться! – озлился Фирсов и на самого себя, и почему-то на красные партизанские штаны Агея под черной овчинной курткой, и на молчаливое невмешательство Пчхова. – В крайнем случае могу и испариться... – И повернулся было к своему демисезону, безголово присевшему на полу, под гвоздем.

Тогда Агей дружественно взял Фирсова за плечи и усадил.

– Ладно, я же ничего обидного не сказал, – смутился он. – Может, тебе смолоду эта сила дадена. Эва, уж и скипятился, ровно самоварчик с угольками.

Понемногу отношения налаживались, и Пчхов очень уместно вспомнил, что собирался в баню. Скоро он ушел, посовав бельишко в плетеный кузовок.

По его уходе наступило тягостное молчание: слишком прозрачны были цели у обоих. Однако у Фирсова на коленях уже появилась его книжка, и он рисовал туда небрежным карандашом. Сперва получилась миленькая девушка, но вот к ней сами собой приросли усики, и она вдруг преобразилась в своего собственного соблазнителя.

– Знаешь, зачем я позвал тебя? – тихо спросил Агей, поглядывая, как девушкикин соблазнитель наспех обрастал брюшком и подбородками, с каждым новым штрихом старея и обезображиваясь.

– Вроде догадываюсь... – покривился Фирсов, приделывая к получившейся харе горбатейший нос и обмазывая ее со всех сторон несусветными бакенбардами. – Умирать мудрецом не страшно, а страшно тварью сдыхать... хотя бывает и наоборот! Чтоб времени не терять, начинайте, раздевайтесь помаленьку, – пригласил он, и карандаш бешено зачертил страничку сплошной мочалкой. – Намекал мне слегка Векшин, да я из-за спешки не совсем его понял...

– ...намекал, не понял, – отозвалось в Агее, и вдруг всей пятерней прихлопнул раздражавшую его фирсовскую книжку вместе с коленом под нею, но тот упорно вернул ее в прежнее положение, и прикрыть ее вторично Агей не посмел. Знаменательные сдвиги происходили на глазах у Фирсова в его собеседнике, и прежде всего как бы скудная, чадная лампада затеплилась в глубине запавших Агеевых глаз; ходила молва про них, что они убивали раньше его рук. И вот прорвалось: – Напиши, напиши про меня, весь тебе распахнись! Вижу теперь, ты все можешь... ишь лбище-то играет как! Спрашивай, если что непонятно тебе станет... ну, из нашей практики. Видишь, любезный... как называть-то тебя?

– Это не имеет существенного значения... – неподкупно отклонил Фирсов.

– Не бойся, в гости не приду! Поздно мне... – сразу утратив всю свою напористость, зашептал Агей. – Заземляться подходит время, знаю свой срок. Уж и ямка вырыта, за мной одним черед... вроде и неловко деловых людей задерживать, вот я и тороплюсь. С места напрямки откроюсь: столько разов меня заочно приговаривали, что уж я курносой не боюсь. Моя смерть будет внезапная, потому как я завсегда отстреливаюсь. Нонче каждый может меня пришить, хоть бы и ты, – в его голосе булькнул глухой смешок, – коли не погребуешь, и тебе письменную благодарность дадут за меня. – Как бы пелена ясновидения застлала горизонт Агея. – Мне предсказывали гадалки – либо бревно на меня нечаянно обвалится, либо сам

задушушь не знаючи... но я-то знаю точно – меня она, моя продаст! – Он вскочил со сжатыми кулаками, и следом, потрясенный вспышкой его безумия, поднялся Фирсов. – Еще посмотрим, сама устережется ли от меня...

– Сидеть спокойно, а то уйду, – пригрозил Фирсов.

– Каждую ночь в два часа просыпаюсь, это и есть мое время. Вздрогну, чиркну спичку: два! Стрелки ровно замертвели... и вот здесь болит. Ты ученый, скажи, что тут у человека? То жечь почнет, то будто мехом щекочет... и гневит, гневит меня! – Он показал глазами тот опасный у человека уголок, куда сбегаются ребра.

– Невроз! – авторитетно заметил Фирсов, все подряд заноса в книжку. – Заодно уж беспокою вас вопросом: что же именно тревожит вас... они? Мне доводилось слышать, что с большими палачами это нередко случается... вообще с представителями этого рода деятельности.

– Да нет... а вроде пусто станет мне очень, – бормотал Агей, отдаваясь на милость Фирсова, и вдруг тот с удивлением ощутил, что и у него стеснилось в том же месте под реберной клеткой. – В самом этом неврозе и сверлит. Я снисхождения не требую... Меня обелить – жизни цельной не хватит, спокаешься! Ты единственно опиши меня без прибавки или украшения, как я есть, и почему я нонче все на вашем свете истинно презираю, а я тебе за труд твой душевно с того свету поклонюсь. Теперь откуда ж мне... с нынешнего начинать или сперва немножко назад коснуться?

– Можно вскользь пройтись насчет детства-рождения... – запинаясь и сделав оригинальный жест рукою, предложил Фирсов, – чтобы затем с разбегу перейти к дальнейшему.

Тот отпил глоток воды из жестяного чайника перед собою, не только для прочистки голоса: он волновался.

– Уж маленько затмеваться во мне стало... ровно занавеской черной задернуто. Нет, постой, что-то виднеется... – Агей вспоминал туго, с явной болью. – Вот яснее теперь: зеленый бугор, и за него солнце уходит, уж вечер. На бугре мельница Павла Макарыча Клопова, крылышки ветром оборваны у ней: значительный в тот год над нашим краем ураган прошел. А интересно бы взглянуть, перед смертью, стоит ли еще она теперь, бедная, а?... Равнина у нас там, лесов маловато. Клопов так говаривал: «Без лесу жить ясней, без дурных мыслей...» Промежду прочим, первейший лесокрад был! Позволь, к чему я все это? Ах да, имеется там луговина у нас, в двадцать четыре версты квадрат... желтая крауха, на ней расставлены деревни: Шемякино, Царево, Пальцево и четвертая моя – Пасынково! Названьице-то запиши, а то затеряется, так и не узнает никто, откуда Агей зародился. Это у нас и красная смерть водилась... не слыхивал?

– Попадалось в сектантской литературе где-то. Это красной подушкой стариков удушали... – гадливо усмехнулся Фирсов, – так сказать, во избавление от напрасных горестей бытия?

– Ото всех бед применялося... – махнул рукой Агей и опустил глаза. – А народишко в наших краях тихий, смиренный, только на вид вроде непроспавшийся. Заяц вскочит на зава-linkу и отдыхает без опаски, и никто его не обидит. Вот ты сейчас на подушку нашу хмыкнул, а чем она тебе не пондравилась? – взъерился он. – Подушкой ли душить, из пушки ли, саблей вдоль человека рубить либо собачьим газом вытравливать... какая разница? Подушкой-то оно даже мягше, опять же по доброму согласию сторон, в удовольствие! Сказывано, будто профессор, который изобрел собачий тот газ, доселе ходит нерасстрелянно, а? Куды мне до него: я людей-то поодиночке, а он ротами! – зычно раскатился Агей, а Фирсов, свободной рукой зажимая ухо, только мучительно морщил лицо. – Да записывай... чего жмешься, ровно божья мать?

– Поменьше рассуждений, больше дела... продолжайте! – поотодвинулся Фирсов, защищаясь.

– Так вот, проживал в тамошних краях один благочестивый мужик со своей старухой... жилистый такой черт! Вот скоро сам увидишь: собственнично отцовское проклятье привезти собирается. Сурового нрава старец, много в жизни богом мучился... до сей поры покоя от него не нашел. Первый евангелист был на селе, а во молодые годы к мордвам да к татарям за верой ходил, для проверки: нигде лучше не смог выискать. Изба просторная, полы под масляную краску. Душа в душу со старухой жил... Ну, значит, посеял дед в бабку зерно, вырос из бабки колос. Стал колос рость, стал наливаться... тот колос я и есть, мое почтение! – Он с ироническим смешком ткнул себя в грудь.

– Не вижу пока ничего смешного... – пожал плечами Фирсов. – Видно, с отцом не в ладах жили?

– Еще в малолетстве случилось промеж нас: ястребенка я раз в поле подобрал. А как надоел мне, то я ему головочку свернул, чтоб не мучился, да кошке и отдал. Так вот, отец молитвенник был за весь род людской, без пяти минут небесный праведник, всю страстную неделю пыльное пятно от земных поклонов со лба не сходило, а ведь замертво меня от него отняли. С того разу и ухо у меня отвислое, видишь? Ушей человеку затем и дадена пара, на случай родительского гнева. Но ничего не возразишь: обожатель природы! Вот близ тех самых лет и нашла на меня ужасная отчаянность в поведении, совсем перестал я курносой бояться: ну, ни чуточки! Да и кто это выдумал, будто курносая?... вот врака-то! Я тебе приоткрою секрет, но ты молчок, смотри. Весь позапрошлый-то год она тут, в Дровяном переулке, жила. Платочек носила, приспущен, и носок из-под него востроклювый, а не птичий. И как по делу куда отправляюся, непременно ее встрену. То прикинется, будто на рынок идет, то как бы из банки с тазиком топает... и каждый раз глазком подмигнет. И так она меня расстроила, что вечерочком однажды проследил я ее и вошел... ну, следом зашел за нею! – Агей опустил глаза и переждал полминутку, в течение которой скося глядел на свои шевелившиеся пальцы. – Наутро выхожу, а она и прется навстречу мне ни в чем не бывало, неживая-то!.. керосин в бидоне тащит, хороша, а? Вот канитель какая получилась... – Он издевательски расхохотался: – Это я тебе нос крутю, дурень, а ты и уши развесил. Она днем не ходит, она больше по ночной поре...

– Уйду! – с ненавистью пригрозил Фирсов и лишь теперь заметил, как сел, изменился его голос.

– Вот ты погуще меня мозгой одарен, объясни: дозволено ли живую тварь убивать? И на войне и всяко! Я после того ястребенка так это дело понял, что до мыши включительно можно, а выше – грех. И вообще я в строгости был выращен: верить – не шибко верил, но полунощницы с отцом отстаивал. А на войне вот и преклонился мой разум. И кто бы подумал: с махонького началось! Атака случилась, а местность чертова, название Фердинандов Нос: весь в дырках холмище. Я первым проволоку порезал, бегу этак, ору, а навстречу офицерик австрийский, сопляшка такой. Шашкой взмахнул на меня, да о штык мой напоролся и замер, и не рубит меня, а только уставился – враз, как ты в меня теперь, с молением. И еще не кольнул я его, а, промежду прочим, уж начинает лицо его оплывать, ровно огарок, а взгляд одновременно мигает мне, ищет. Чего-то ужасно он искал тогда во мне... и не нашел! А это верно, когда тебя штыком колют, смерть свою – не на острие, а в самом зрачке у того, кто колет, ищи! И как замигал он мне – врешь, думаю, через глаз пролезть в меня желаешь? Защурился я да...

– Словно в бане натоплено... – шумно вздохнул Фирсов, обмахнув испарину со лба.

Он даже привстал зачем-то, но Агей властным толчком в плечо осадил его на прежнее место.

– Потерпи, чудак, самое теперь завлекательное, самая соль начинается... Тут вроде смотр нам после случившихся боев произвели. Генерал со штабу наехал, с виду что твоя гаубица: лицом мужественный и красный, наскрозь войной пропитался. Нацепляет мне в строю военное отличие, поздравляет с героизмом. А мне как бы жар приключился, и ухо поврежденное заныло. «Ваше, говорю, дорогое превосходительство, во что же мы упираемся в жизни...

ведь все это ржавь сушая: я человека убил». И помнится, сдуру дополнительно сболтнул что-то. Глуп был, вспоминать совестно... Как выпалит он в меня полным зарядом во всю пасть: «Идиот, коли начальство дает что, значит, за святое дело дает!» Отсидел я трое суток за своевольный разговорчик взаперти, и тем временем понравилось. Конечно, полностью-то еще не все оборжавело во мне, но смекаю: работа, в общем, легкая, а отличают. И что всего главней – не берут меня ни пуля, ни хвороба. Бывало, смерть вокруг все до былинки выкосит, из земляных норок и кротишек-то всех железным ногтем повыковыряет, а я... один я у ей невредимый стою ухмыляюся, ровно у тещи любимый зятек. Хожу и дымлюсь, такая во мне злоба. Обозрел я вконец, за каждую атаку в среднем по семь штук накальвал... пуше светлого Христова воскресенья боя ждал. Не хочешь – не верь, а только случилось, мертвого по второму разу убил. Откинулся он башкой к лафетному колесу, вроде наблюдает мои действия... Ну я и вздел его от страсти! И пошла мне удача на кресты, а как выдали четвертый, самый золотой, снялся на карточку кабинетного размера и домой отослал: будто стою на морской скале, фуражка набекрень, грудь в крестах, пуле пройти некуда. Меня в ту пору от здоровья жениться тянуло; пускай, соображаю, девки заранее влюбляются. Папаша мне тоже благословение свое прислали с матушкой. И как германская кончилась, новая же, по недосмотру правительства, не началась пока, а между тем карманные средства мои очутились на исходе, то и решил я самостоятельно применить свой добытый опыт. Воротился украдкой в родимые места, поогляделся... да и почал помаленьку богатеньких корчевать. По общему отзыву за год работу провел довольно значительную... – И тут Агей снова, с каким-то отчужденным любопытством, покосился на руки себе. – А только чего-то затянулось дело с медалью на сей раз: живуча мать-волокита на русской земле!

– И тебе не жалко... их? – содрогаясь от гадливости, вскинулся Фирсов.

– А чего?... сорняк из поля вон, полезному злаку воля.

– Ошибку в спешке совершить не опасаетесь?

Агей только кольнул искоса собеседника медвежьим глазком.

– Ты лишнюю умственность не наводи... да я на наградах не настаиваю, достаточно сам себя награждал: бывалча, по полцарства за ночь в карты просаживал... всего в жизни спробовал, так что пора и честь знать!

Он впал в оцепененье долгого и тяжелого похмелья. Пользуясь передышкой, Фирсов снова кинулся записывать, так что пальцы сводило от поспешности... впрочем, писал он вовсе не то, в чем каялся Агей. В повести давешний эпизод округлялся иначе; по Фирсову, при первой же всеармейской смуте рядовой Столяров Агей пришел генерала, награждавшего его за тот начальный подвиг, причем – не из политических даже соображений или, скажем, из иронической благодарности за полученную науку, а просто из неодолимой прихоти добыть мундир и послать папаше карточку во всех генеральских регалиях, что, по слухам, произвело неотразимое впечатление на пригожих односельчанок.

– Да ты послушай меня, погоди ты, торопыга, успеешь свой черновичок на Агейку Столярова накидать!

– Не надвигайтесь, вы мне мешаете работать... – оборонялся Фирсов, потому что временами очки у него едва не запотевали от дурного Агеева дыханья, а сзади приходилась уже стена. – И бросьте же свои блатные штучки, черт возьми!

– Вот и рычишь ты, а ведь не боюсь, не крепше ты моего ястребенка: пера на тебе много, а тельца на грош. И я почему на тебя напираю? Я с изнанки помочь стремлюсь, из потемок, а ты спереду умом пробивайся... вдвоем-то мы враз до сути и доберемся. Я так гляжу, что не кровь пролитая в нашем деле вредней всего, а понятие: нельзя никому открывать, как это легко и нестрашно. Потому что без Бога да на свободе – ух чего можно в одночасье натворить. А уж кто нож или что другое там на человека поднял, то надо и его самого в яму зарыть... Но тут заминка у меня: кто же тогда распоследнего-то возмездия предаст? Самому вроде не с

руки в землю закопаться, а из посторонних станет некому. Вот как твое мнение, просвещенный деятель?

В вопросе этом Фирсову почудилось проявление если не природного ума, то стихийного, вслепую, правдоискательства, не раз отмеченного фирсовскими предшественниками в русском преступнике. «Из глубокого колодца, сказано было в этом месте фирсовской повести, и в слепительный полдень иногда бывает виден свод небесный с ночными светилами». Естественно, сочинитель попросил собеседника уточнить, кого имел тот в виду под именем последнего наказующего. Агей отвечал довольно посредственной догадкой собственного изобретения, однако не лишенной известной остроты и смысла, так как на любое суждение о великом или бесконечном неизменно ложится отблеск темы. Словом, налаживался полагающийся в таких случаях, истовый, с глазу на глаз, разговор, и за протекшие затем полчаса обоим удалось выяснить немало обстоятельств, одинаково полезных и для Агея, и для его вынужденного биографа, как вдруг случилось досадное происшествие... Кошке, спавшей на хозяйской койке, приснился голодный сон. В поисках пищи она полезла на полку, где хранилась пчховская снедь, но оскользнулась по дороге и вместе с инструментальным ящиком Пчхова свалилась на пол. Фирсову представилась редкая возможность изучить психическое, полное напряженного ожидания, состояние Агея той поры.

С прокушенной губой, весь в поту и выхватив что-то из рукава, Агей мутно озирался по сторонам, ища разгадку долгого, с металлической россыпью, грохота; испуг его мгновенно передался и Фирсову. Оба, крадучись, отправились в дальний угол, за печку, к месту происшествия. Причина была очевидна: кошка ежилась в углу, в страхе наказания за провинность. Отпихнув назад Фирсова, близоруко склонившегося к полу, Агей медленно отводил ногу в тяжелом сапоге, и, верно, пришлось бы Фирсову стать свидетелем ужасной расправы, если бы не поторопился открыть дверь на условленный наружный стук.

Пчхов вошел веселый, распаренный; проиндевелые волосы торчали из-под шапки. С ходу поняв обстановку, он решительно подошел к Агею.

– Чего, чего удумал? – спрашивал он, наступая на Агея и не спуская глаз, пока кошка не шмыгнула во двор сквозь полуприкрытую дверь. – Уж я надеялся, не застаю тебя, а ты... ну, спать пора! Хватит тебе, хватит: сколько времени у стоящего человека отобрал.

– Хорошо еще, только время, не самые часы отобрал-то! – во весь рот пошутил Агей; и вот следа не оставалось в нем от его недавней просительной озабоченности. – Чего гонишь! А может, не все еще меж нас досказано...

– Ладно, в другом месте доскажешь. Ступай и не возвращайся ко мне больше, – говорил Пчхов, тесня его к двери, а тот пятился без обиды и сопротивления. – Уходи, велю...

Когда хозяин обернулся к Фирсову, тот сидел с бездельными руками на коленях, с отускневшим от усталости лицом. Точно ослепшим взором глядел он на раскрытый в кружке света под лампой листок записной книжки, где до поры притаились осквернившие его слух Агеевы откровения. Но уже никакой силой нельзя стало удалить ни буквы об Агее из задуманной повести.

– Накурился, что ли? – наклонился к нему Пчхов, заглядывая за фирсовские очки, по-стариковски полуспустившиеся с носа.

Лишь теперь признал он трудность сочинительской должности, правильно разгадав его подавленное, противоречивое безмолвие.

XXII

В ночь, проведенную Митькой вне дома, Зинка видела про него скверный сон и потому, уходя в тот вечер на работу, старательно запудривала круги под заплаканными глазами. Как страшилась она утратить еще не приобретенное! Только через неделю, полную жгучей безвестности, дополз до нее слухок о неудержимой Митькиной гульбе после некоторых опасных приключений. Никто на свете не знал, что за те два часа, пока Агей смущал Фирсова своей исповедью, Митька с товарищами удачно навел на намеченное акционерное предприятие, о котором сговаривался с Агеем при последнем свидании. Щекутин и курчавый Донька помогли Митьке в той, оказалось, весьма легкой и выгодной медвежьей охоте. Не желая иметь в сообщниках Агея, хоть и наносил этим непрощаемую обиду, Митька решил, не вдаваясь в объяснения, отослать ему в конверте его долю, – и не как за наводку, а вровень с прочими участниками. Выяснилось, таким образом, что лишь из помянутых соображений Митька и устраивал на это время Агееву встречу с сочинителем на квартире у Пчхова...

Расставаясь с Фирсовым в тот вечер, Векшин то и дело справлялся с часами: до условленного с сообщниками сбора он намеревался зайти к сестре – в записке, присланной по городской почте, она приглашала его на первое, после длительной гастрольной поездки по провинции, выступление в московском цирке.

Векшин поспел едва к середине второго отделения. Все нетерпеливее публика ждала знаменитого номера Геллы Вельтон. Безукоризненный джентльмен во фраке заставлял белую, в ремешках и с султаном, лошадь встать на колени перед публикой; та черпала копытом песок и не хотела. Митька добрался наконец до своего места на галерке. Ружейные выстрелы и вопли джигитовки сменились старомодными клоунскими пощечинами и снисходительными хлопками зрителей. Митька рассеянно следил, как дробятся и отражаются все эти звуки в круглом куполе над головой; сам того не сознавая, он напрасно искал там, в полупотемках, знакомую ему шелковую петлю сестры.

В антракте Митька отправился в уборную к Тане. Шустрый русский паренек, обезличенный униформой с металлическими пуговицами, пропустил его в закрытую для посторонних половину цирка; другой, из того же уважения к Митькиной шубе, указал ему на железную, в полтора марша, лесенку к артистической Геллы Вельтон. Сквозь приоткрытую дверцу, помеченную на скромной картонке цирковым именем сестры, просочился неодушевленный какой-то смешок, словно горох просыпали на бумагу. Смеялся бритый старичок в черной домашней шапочке, оттенявшей его поразительную бесцветность, и, казалось, прозрачный на просвет, такой он был бесплотный, вымытый, в чем-то уже нездешний. Роясь в чемодане, он рассказывал смешной эпизод из собственной жизни, – смеялся, впрочем, только он сам. Сестра стояла почти готовая на выход, в голубом трико, совершенно обнажавшем ее, если бы не отвлекающая, по поясу, россыпь лучистых звезд, из блесток. Прежде чем хоть взглядом приветствовать брата, она вполголоса обронила что-то женщине с безнадежными глазами, которая массировала ей шею и плечи; та накинула на Таню серый халатик с красной каемкой и вскорости незаметно исчезла за ширмой.

Брат и сестра повстречались взглядом в глубине стоячего зеркала, окаймленного рядами ламп по сторонам. Он пришел явно не вовремя, – Таня не обрадовалась, не удивилась, к досаде Митьки, возлагавшего на эту встречу смутные надежды продолжить все еще не законченный с прошлой встречи разговор. Сейчас она мало походила на себя, недавнюю, простую и теплую, и казалась совсем не такой молодой, какой выглядела в его мыслях. Может быть, это происходило от ее строгой внутренней собранности перед выступлением. С безразличием рассеянности Таня спросила у брата, что нового в его жизни, но тут прямо над головой рассыпался долгий звонок, от которого защемило в сердце, и вдруг по короткому и тревожному блеску в

глазах сестры Митька понял, что она волнуется, почти на грани сомнения в себе, как и сам он перед опасным мероприятием, отчего девушка стала ему вдвое ближе.

«Как тебе сказать, все шалю покамест...» – собрался отшутиться Митька, но внезапно, забыв про заданный вопрос, сестра вышла справиться об установке аппаратов. Приняв ее случайный жест за приглашение садиться, он опустился на что-то возле пыльной входной портьерки и, лишь бы не думать о предстоящем, следил за стариком, как суетился тот, собирая раскиданные вещи с пола и немедленно роняя новые.

– Очень рад видеть брат моей Таниа, – без умолку щебетал Пугль, оставшись наедине с посетителем, даже за плечо придержал Митьку, сделавшего попытку приподняться. – Нищего, сидит, хорошо. Я не знал, что такой молодой. Если б мы не был молодой, мы никогда не стал старый. Ой, как набросал... Дуняш, Дуняш! – покричал он в дверь, за которой глухо плескалась вступительная, после антракта, музыка. – Знает, штрафат это опасны номер. Артист не может иметь дурной настроенье, когда штрафат. Люди хотят получать за свой деньги небольшой приятны страх. Когда мои детошки сорвались, один господин, большие усы, шикайт мне... о, Schwein!

Он собирался посвятить Векшина в подробности давнего несчастья, но скрипнула дверь, ворвалась волна медных звуков, аммиачный сквознячок из конюшни вместе с нею, потом глухо бился в дверь уборной тупой барабанный бой, – вернулась Таня.

– Ты ведь первая? – приподымаясь, спросил Митька и поежился от вторичного звонка над головою; никто не обращал на него внимания теперь. – Мне, пожалуй, пора на место?

Сестра скинула халатик, а Пугль принялся обдергивать свой черненький пиджачок, словно ему, не кому другому, предстояло покорять зрительские сердца. С порога Митька оглянулся на тишину и опустил глаза: привстав на цыпочки, старик сосредоточенно крестил питомицу, стоявшую с закрытыми глазами.

Не попав к себе на галерку, Митька должен был по дороге занять пустовавшее место в рядах; цирк нестройным плеском уже приветствовал эту знаменитую, в черном пока, артистку, доставлявшую наслаждение минуткой ужаса. Цветные прожекторы нащупывали глянцеви́то-черную петлю, свисавшую из купола, и многократно повторяли ее на дальней стене. Только один зритель не хлопал в ту минуту. С болью сомнения узнавал он сестру в улыбающейся циркачке там, внизу, которая, подкупающе раскинув руки, кланялась за проявленную к ней доброту. Привлекательность ее номера заключалась в полном отказе от усложняющих приемов, помогающих артисту продать его дороже. Сбросив черный плащ на руки подоспевшей униформе, Таня стала легко, по веревочной лесенке, подниматься на высоту. И такая была в том безупречная слаженность движений, проникнутая такой убедительной уверенностью в безопасности, что Митька и все остальные две тысячи вместе с ним испытали подсознательную благодарность к артистке, избавлявшей их от тревоги, способной испортить предстоящее удовольствие.

По рядам, кругами расширяющимся кверху, пробежала тишина, а смычки скользнули на самый верх, и предостерегающе рассыпался корнет-а-пистон. Потом один за другим пошли вступительные перед штрафатом трюки, но уже со середины номера Митька из какого-то суеверного чувства перестал глядеть на сестру. Если бы не ее приглашение в прошлый раз – «нарочно для тебя уроню платок сверху, смотри!» – ничем бы его не заманить в цирк, да еще за полтора часа до собственного дела. Озабоченный затянувшейся паузой, впрочем, он украдкой взглянул наверх: подсвеченная снизу синим лучом, который Митьке показался оранжевым, Таня неторопливо делала что-то, присев на трапеции.

– Ботинки прикрепляет, – вслух сказал в ложе перед ним средних лет начинающий жиреть человек, и Митька принялся глядеть ему в складчатый затылок, чем-то похожий на бараний курдюк. Его дама, пышная – точно с двумя дынями за пазухой, снимала с апельсина

кожуру, пользуясь ногтем отставленного в сторону пальца с грязноватым сверкающим камнем в кольце.

– Как она долго там... – поворчала дама, а Митька вспомнил неизвестного назначения ременные застежки на башмаках сестры.

Знаменитый прыжок в петле Гелла Вельтон приберегала к концу. Слегка закрепив голубой колпачок на волосах, она закинула руки за шею и стала вращаться вокруг трапеции. Потом, недосыгаемая для векшинской жалости, она еще что-то делала там, в своей высоте, рассылая в перерывах воздушные поцелуи всем, кто потратил вечер и деньги ради нее. Все это время Векшин малодушно, скосив голову набок, занимался обстоятельным изучением ненавистного затылка перед собою.

– Вот он, гляди, штрабат... – произнес затем спутник толстой дамы, продолжавшей спускаться с апельсина оранжевую стружку.

Все замолкло, даже положенная барабанная россыпь в оркестре. Тишину пронизывало лишь шипенье прожектора да, казалось, напрягшиеся до легкого гудения тросы. С нетерпением страха на этот раз Митька поднял глаза. Незнакомая и бесконечно удаленная, показалось ему, артистка стояла с петлей на шее, вымеряя расстояние до черного, как мишень, коврика, поджигающего на опилках внизу. Степень напряженья невыносимо усилилась. Кто-то, пригибаясь, уходил в рядах, женский голос крикнул довольно. Дама перестала чистить апельсин, и вопросительно поднятый ноготь спорил тусклым блеском с бриллиантом. Затем последовал общий вздох, и протекли еще несчитанные мгновенья, прежде чем ноготь мизинца снова врезался под оранжевую корку. Бурные рукоплесканья и медный треск в оркестре возвестили об окончании номера. Сестра была уже внизу, светлая и несбыточно голубая, с перекинутым через плечо плащом, а над головой у ней еще раскачивалась шелковая, обманутая веревка. Убегая, кому-то отдавливая ноги, Митька успел приметить на арене Стасика, провожавшего Таню к нему на Благушу; собаки из следующего номера, выстроившись полукругом, жались друг к другу, нервно поглядывая на разряженного в клоунские блестяшки повелителя.

На ходу запахивая шубу, Митька выскочил из цирка на мороз. Щекутина он подхватил за карточным столом в одной малине неподалеку; они вышли тотчас же. Донька и подсобная команда находились уже на месте... Расстались несколько часов спустя, на исходе ночи, покидая акционерного медведя в самом неприглядном виде. Оставшись наедине с собой, Митька долго сидел на смежном бульварчике, охваченный скорее смятением духа, чем понятной усталостью. Никакая радость на свете не погасила бы в нем вдруг возникшей, с каждой минутой возраставшей смуты, и причиной ее была крохотная, лишь на самом месте преступления и с непоправимым запозданием обнаруженная Митькой подробность. Он начинал постигать существо жестокой и гадкой Агеевой проделки над собой и чем дольше размышлял, тем больше приходил к заключению, что вряд ли Агей додумался до нее без посторонней женской помощи.

За ночь мороз усилился. В снежной предрассветной пыли кое-где беспорядочно возникали освещенные окна, хотя безмолвие ночи еще тяжело лежало на городе... Когда смутные белесые тени наступающего дня поползли по снегу и полностью объявился в улицах гул пробужденья, Митька разбудил ночного извозчика и нанял на Благушу. Никаких сомнений не оставалось у него теперь, что замысел ножовой шутки принадлежал коварной Маше Доломановой.

Ехал он к ней упрекнуть за жестокий и, верно, не первый уже удар, принимая во внимание прежние Митькины огорченья, а между прочим, бросить в очи ей напоследок какое-нибудь особо беспощадное словцо... однако чем дальше ехал, покачиваясь в санях на московских сугробах, тем отчетливей сознавал, что не за тем, чтоб браниться, едет, а из вдруг возникшей потребности взглянуть в похудавшее, тоже бессонное Машино лицо, – хоть теперь простила ли после такого, а потом завалиться где-нибудь в непробудный, на полгода, сон!

«А впрочем, что мне в ней, – слышалось ему в унылом пении полозьев на раскатах, – в чужой жене, захватанной, Агеевой. И разве слаще нынешнего было бы тогда еще, в Рогове, пробиться в доломановские зятя? Давно сгнил бы ты, Митя, от семейного счастья, на толстых перинах, на жирных доломановских щах. Ходил бы по престольным праздникам в демятинскую церкву всем выводком, а после обедни к попу Максиму на гуся с домашней наливкой, а там опять с головою в пыланье неукротимой Машиной любви... Тогда чего ж тебе угодно от жизни сей, обожаемый Дмитрий Егорыч?»

Соскочив с саней, под неодобрительным взором извозчика Векшин приложил горсть снега к разгоряченному лбу и лишь тут ощутил, как сильно прохватило его на сквозняке, пока возился с медведем. Начинался жаркий озноб, с затылка напал знакомый простудный гнет, сердце билось толчками, как отравленное... Вдруг Митька передумал: чтобы зря Маше боль свою не выдавать, чтоб раньше сроку не тешилась, разумнее было по горячему следу, пока не ушел от Пчхова, у самого Агея проверить догадку и в первую очередь выяснить, как оно могло случиться, столь поразительное совпадение, что в громадном столичном городе Дмитрий Векшин попал с фомкой в гости именно к лучшему своему другу Арташезу?

Толкая ногой пчховскую дверь, Митька больно и надрывно закашлялся.

XXIII

Как и следовало ожидать, Агея на месте уже не оказалось, да Митька и сам тотчас забыл свое намеренье. Пчхова он застал в жарком споре с Фирсовым: впрочем, горячился главным образом первый, потому что речь шла о важнейшем для него предмете, а второй лишь подыгрывал ему восклицаньями согласия, удовольствия или сомненья. Карандаш его, будто и не ночь, мелким бисером устилал очередную страничку записной книжки. И не то было поразительно, что до утра затянулась беседа, а то, что Пчхова хватило на нее при столь требовательном партнере.

– Хватит с тебя, сочинитель. Мало тебе Благуши, за самого Пчхова принялся! – неприятно для обоих пошутил Векшин; прямо в шубе он присел у печки, стремясь скорее добраться до тепла. – Собачий холод на дворе, подкинь еще поленце, мастер жизни!.. Вдоволь поди наговорился с Агейкой?.. подходящий для тебя оказался товар?

– В смеси с другими пройдет... – только и буркнул Фирсов, боясь утратить кончик порвавшейся мысли; впервые присутствие Векшина стесняло его.

Спор безнадежно обрывался, Фирсов с досадой прикрыл свою ловушку. Не поднимаясь с места, Пчхов прощупал вошедшего хмурым взглядом.

– Не в гостях ли засиделся, Митя?

– Так, важное совещание одно... – и, махнув рукой, зашелся в приступе кашля.

– Шатаешься, видать, с выпивкой совещание. Снилось мне, будто подстрелили Митю, поберегись: у меня сон вещей!.. Ишь как треплет тебя... не угодно ли, лекарства пузырек составлю? Как рукой сымет...

– Все нутро кашлем выворачивает, – пожаловался между тем Векшин, прижимаясь спиной к остывающей печной кладке. – Поди на каустике лекарство свое составляешь, самоварный лекарь!.. нет, это от табаку у меня.

Его знобило, он заметно путался в словах. Мельком помянув про бывшего приятеля, Арташеза, тоже любителя полечить домашним средством, он без очевидной связи перескочил к Маньке Вьюге, чтобы от нее распространиться о пропойном доломановском братце, не известном никому из его собеседников. И по тому, как вникал Пчхов в его скачущие мысли, не прервав ни разу, а только хмыкал, покачивая головой с видимым участием, – Фирсов ухватил наконец в Пчхове то главное, чего ему не хватало для последнего наглядного портретного сходства.

«Весь мир был для Пчхова театром искреннего и слитного действия, и он один, зачарованный зритель, глядел из своей мастерской как из ложи на происходившее перед ним зрелище жизни... Глядел и все не мог наглядеться на нескончаемое повторенье одной и той же темы, сплетение обманутых любвей, неутоленных вождлений, молодостей на взлете и в падениях. Все ему было там до самозабвенья интересно, как путнику на берегу моря, где то и дело из голубой вечности бежит, бежит волна, чтоб донести свой клочок пены, шевельнуть гальку и растаять на полувздохе... – Фирсов мысленно зачеркнул последние три морские строки, чтобы сохранить единую, театральную фактуру образа. – И, несмотря на возраст, так было ему все интересно, что и самое плохое стремился досмотреть до конца».

Вдруг Пчхову надоело тратить время на шутивную перебранку с Векшиным.

– К слову, вот ты обронил мне давеча, Федор Федорыч, – продолжил он прерванный векшинским вторженьем спор, – что затопчут, дескать, нас враги жизни, если с прогрессом в ногу не идти. А я все жду, не взбунтовались бы когда-нибудь твои людишечки: довольно, скажут, нам клетку этой самой цивилизации для себя сооружать все тесней да строже. Правда твоя, позволяет нам наука в бездну заглянуть, да она же и скинуть нас может... да еще в какую бездну! Вот я тебе притчу обрисую, ее и тебе полезно послушать, Митя!.. отец Агафодор, уеди-

ненник мой, у которого я душу-то во молодые лета спасал, ночью, у полусмертного ложа моего сидя, сказывал... Когда у Адама с Евой случилась та самая промашка с яблочком, то и погнали их из райского сада помелом. Присели они под колючею оградю на бугорочек, дрожат обнявшись, проливают горько-соленую слезу, что впервые не емши надо спать ложиться. Они ведь там ровно детки, на полных харчах состояли, в раю-то. Плачут этак, своеобычно друг другу попрекают... Тут и подходит к ним ихний соблазнитель, только уж не в прежней змеиной коже, а переодевшись в партикулярное платье, разумеется. «Не печальтесь, горемышные, – он к им задушевно так, нараспев обращается, – в чем ваше горе? Вы мне доверьтесь, а то глядеть на вас кровью сердце обливается!» Они ему так в рукав оба и вцепились: «Пожалуйста, говорят, примите в нас участие, а то с квартиры согнали, зверь в лесу стонет, ночь подступает... жутко в мире голому да натошак!» Он им в ответ: «Не убивайтесь, граждане, в тот сад и другая дорога имеется. Вставайте, пожалуйста, время – деньги, я вас сам туда проведу!» И повел... – Пчхов задумчиво огладил заросшие седой щетиной щеки. – Вот, с той поры и ведет он нас. Спервоначалу пешечком тащился, а как притомляться стали, паровоз придумал, на железные колеса нас пересадил. Нонче же на еропланах катит, в ушах свистит, дыханье захлестывает. Впереди Адам поддает со своею старухю, а за ими мы все, неисчислимое потомство, копать копать... ветер кожу с нас лоскутьями рвет, а уж ничем теперь нельзя нашу жажду насытить. Долга она оказалась, окольная-то дорожка, а все невидимы покамест заветные-то врата! – Он кончил вздохом сочувствия, и можно было по его сказке угадать, на что ушла у них с Фирсовым зимняя длинная ночь. – Так-то оно на поверку обстоит, Федор Федорыч.

– И правильно! – сумбурно вмешался Векшин. – Зато уж как достигнут, сами станут всему хозяева. Человек есть такое вещее слово, Пчхов, что выше всех титулов на свете. Он и не может иначе: ему вперед и вверх надо, все вперед и вверх...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.